



Т В О Й К Р У Г О З О Р



А. В. Волошинов

Мудрость Эллады



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Мудрость Эллады

А. В. ВОЛОШИНОВ





ПРОСВЕЩЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Т В О Й К Р У Г О З О Р

А. В. Волошинов

Мудрость Эллады

Иллюстрации С. П. Тюнина

М О С К В А

« П Р О С В Е Щ Е Н И Е »

2 0 0 9

УДК 087.5:1
ББК 87.3(0)
В68

Серия «Твой кругозор» основана в 2007 году

Волошинов А. В.

В68 Мудрость Эллады: [для ст. шк. возраста] / А. В. Волошинов; ил. С. П. Тюнина. — М.: Просвещение, 2009. — 176 с.: ил. — (Твой кругозор). — ISBN 978-5-09-019349-8.

Книга содержит жизнеописание десяти античных мудрецов. Это Пифагор, Гераклит, Парменид, Зенон, Протагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Диоген Синопский — мудрейшие из мудрейших не только в древнегреческой философии, но и во всей мировой культуре. Для каждого мудреца автором решается триединая задача: личность-учение-современность, т.е. рассказывается о жизни и судьбе мудреца, его основных идеях и их современном развитии.

Каждое время требует своего прочтения немеркнувшей античной мудрости. Ярким образным языком автор доносит до читателя аромат древней мудрости, ее неувядающую красоту.

УДК 087.5:1
ББК 87.3(0)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

Серия «Твой кругозор»

Волошинов Александр Викторович

Мудрость Эллады

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Зав. редакцией *В. И. Егудин*

Редактор *Е. Г. Таран*

Художественный редактор *Т. В. Глушкова*

Компьютерная верстка *Э. Н. Малания*

Технический редактор *С. Н. Терехова*

Корректор *Е. В. Казакова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 25.09.08. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 13,63. Тираж 10 000 экз. Заказ № 27400.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 41.

Отпечатано в ОАО «Саратовский полиграфический комбинат».

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59. www.sarprk.ru

ISBN 978-5-09-019349-8

© Издательство «Просвещение», 2009

© Издательство «Просвещение»,
оформление, дизайн серии, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	6
ПИФАГОР	8
ГЕРАКЛИТ	22
ПАРМЕНИД	35
ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ	48
ДЕМОКРИТ	61
ПРОТАГОР	76
СОКРАТ	90
ПЛАТОН	109
АРИСТОТЕЛЬ	133
ДИОГЕН СИНОПСКИЙ	157
ГРЕЧЕСКОЕ ЧУДО	170

ОТ АВТОРА

«Греция — это слава, величие же — это Рим». Эту чеканную, доступную только поэтам, формулу Эдгара По я вспоминал каждый день, бродя по улицам и площадям Рима. Былое величие античного Рима вставало передо мной на каждом шагу, оно поражало и подавляло. И все-таки величие бrenно, тогда как слава не меркнет никогда.

Слава античной Греции сияет уже третье тысячелетие, и она по-прежнему так же ярка и чиста как жаркое солнце Эллады. Глядя на Афродиту Милосскую или Нику Самофракийскую, невольно ловишь себя на мысли: да человек ли вообще сделал все это?! И тогда античные греки становятся для тебя сродни олимпийским богам.

Но особая слава — слава мудреца. Она не только сияет, но она и живет, она прорастает тысячью побегов в нашей современной жизни. Как старые мастера добавляли в бронзу серебра и золота, чтобы отлитый колокол звучал благородным звоном, так и без античной философии колокола новых философий остались бы безголосыми. Растворившись в средневековой схоластике, мудрость Эллады зазвучала в могучих консонансах Джованни Бонавентуры (1221—1271) и Фомы Аквината (1225—1274), Данте Алигьери (1265—1321) и Эразма Роттердамского (1466—1536), Бенедикта Спинозы (1632—1677) и Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), Сергея Трубецкого (1862—1905) и Павла Флоренского (1882—1937). Каждый из великих мудрецов, если и согласится признать себя таковым, то непременно укажет на свою духовную купель — великую мудрость Эллады.

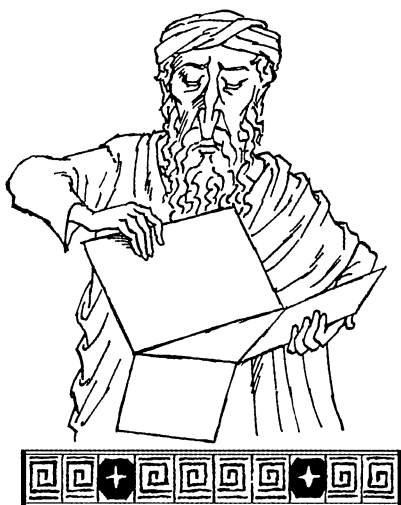
И тем не менее, слава — это не только блеск и сияние: путь к истине всегда проридается сквозь тернии. Вот почему жизнь мудрецов

представляется сплошной цепью трагических звеньев: Гераклит, осмеянный толпой, скитается в горах и неизвестно где и как погибает; плененный Зенон Элейский откусывает свой язык и плюет его в лицо тирану — теперь он ничего уже не сможет сказать ему; Демокрит ослепляет себя, ибо согласно его философии чувственное зрение не должно мешать внутреннему умозрению; в ночь перед казнью Сократ отказывается от побега и утром спокойно принимает смерть; Диоген Синопский живет в бочке, ест вместе с собаками, но отвергает милости царя Александра Великого; Архимед погибает от меча безграмотного римского воина, не поднимая глаз от своих чертежей; Гипатия позволяет растерзать себя обезумевшей толпе фанатиков-христиан, но не позволяет себе изменить своим убеждениям духовной наследницы великого Платона; оклеветанный Боэций в ожидании казни не просит пощады и не ищет справедливости, а пишет лучшую свою книгу «Утешение философией»... Все это отнюдь не причуды гения, но скорбная плата, отданная ради торжества Истины, во славу Долга, во имя Красоты и Величия человеческого разума.

В нашей книге представлены только десять мудрецов Эллады. Понятно, что это «мудрейшие из мудрейших», и наш рассказ представляет собой некую огибающую по вершинам великой античной мудрости. Никто из этих мудрецов не являл собой абсолютной Истины, но все вместе, хотя бы и только десять, они составляли путь человечества к ней. И на этом пути к Истине, как награду за свой трудный путь, они обретали Красоту мудрости и дарили идущим с ними Добро своих помыслов. Недаром Истина-Красота-Добро с античных времен изображается в виде трехликого ангела, направляющего путь мудреца.

ПИФАГОР

(ок. 570 — ок. 500 до н.э.)



Все есть число.

Хотя античная традиция отцом философии и отцом геометрии называет Фалеса, наряду с отцом истории Геродотом и отцом трагедии Эсхилом, первым античным математиком в современном смысле слова следует назвать Пифагора. Пифагор первым ввел доказательство в математику, так что математика как современная дедуктивная наука начинается с Пифагора. Именно Пифагор первым заменил жреческие вопросы «как?» на научные вопросы «почему?». Именно Пифагор произвел революцию в математике, тихо дремавшей более 1000 лет в тиши жреческих и халдейских храмов, и придал ей ту форму, которую она сохраняет и поныне.

Но не только и не столько революция в математике принесла Пифагору славу. Подобно своим великим современникам — Будде в Древней Индии, Конфуцию в Древнем Китае, а возможно, и Заратустре в Древнем Иране, он был еще и пророком, религиозным реформатором, властителем дум и проповедником собственной — пифагорейской — этики. Разносторонняя деятельность Пифагора — и научная, и религиозно-этическая, и философская — сделала его личность необычайно популярной, еще при жизни окутала ее плотной завесой легенд и преданий, которые с течением веков старательно приумножались.

«Я не знаю другого человека, который был бы столь влиятельным в области мышления, как Пифагор. Я говорю так потому, что кажущееся платонизмом оказывается при ближайшем анализе в своей сущ-

ности пифагореизмом». Так писал о Пифагоре наш современник, английский математик и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе Бертран Рассел (1872—1970). Продолжая эту мысль Рассела, мы можем указать на могучую ветвь мировой философии — неоплатонизм — и ее славных представителей: Плотина (ок. 204—269/270) и Порфирия (ок. 233—304), Аврелия Августина (354—430) и Иоанна Скота Эриугену (810—877), Николая Кузанского (1401—1464) и Джероламо Кардано (1501—1576), Томазо Кампанеллу (1568—1639) и Джордано Бруно (1548—1600), Фридриха Шеллинга (1775—1854) и Георга Гегеля (1770—1831), Владимира Соловьева (1853—1900) и Сергея Булгакова (1871—1944), Павла Флоренского (1882—1937) и Алексея Лосева (1893—1988), каждый из которых испытал на себе влияние бессмертных идей Пифагора.

Кто же он был, этот человек-загадка, получеловек и полубог, как его рисовали предания? Мы не знаем доподлинно ни биографии, ни портрета Пифагора, не сохранилось ни одной строки из его сочинений; его жизнеописание, подобно жизнеописанию Христа, стало легендой, которая за 1000 лет античной истории обросла таким количеством самых невероятных преувеличений, что Пифагора стали называть на одну десятую гением, на девять десятых выдумкой. И тем не менее, отделяя кусочки легенды от целого истины, в сумраке древних преданий можно разглядеть подлинный образ Пифагора.

Родился Пифагор около 570 г. до н.э. на острове Самос, что лежит в Эгейском море у берегов Малой Азии недалеко от Милета. Самосцам приписывается изобретение бронзового литья, основание множества колоний, рассыпанных по всему Средиземноморью, в том числе Кротон на юге Италии и Навкратис в дельте Нила — города, тесно связанные с судьбой Пифагора. Славился Самос и храмом богини Геры, состязаться в красоте с которым мог лишь храм Артемиды в Эфесе — одно из семи чудес света.

Своего расцвета остров достиг во второй половине VI в. до н.э. при тиране Поликрате. Захватив власть с помощью дружины в пятьдесят человек и двух братьев, Поликрат быстро избавился от последних, стал единоличным и жестоким правителем Самоса. Тиран сколотил разбойничий флот, который не имел себе равных и господствовал в Эгейском море, не щадя ни чужих, ни своих. Разумеется, с могучими соседями — египетским фараоном Амасисом и персидским царем Камбизом — Поликрат старался поддерживать самые теплые отношения, что, впрочем, не помешало персам зверски убить его.

Отцом Пифагора был Мнесарх, резчик по драгоценным камням, славившийся среди мастеров своим искусством вырезать геммы, но стяжавший, как говорили, скорее славу, чем богатство. Сохранилось предание, по которому Мнесарх вместе со своим прославленным учеником — скульптором Феодором вырезал перстень дивной красоты. Перстень этот перешел к Поликрату и ценился им выше всего на свете. Однажды Амасис сказал Поликрату, что он удачлив и богат, но боги ревнивы к людскому счастью, и чтобы хоть как-то отвести гнев бо-

гов, посоветовал ему расстаться с самой дорогой вещью. Поликрат внял совету Амасиса и выбросил в море свой перстень, но через несколько дней перстень обнаружили в рыбе, подаренной к столу тирана. То был знак, указующий на неотвратимость судьбы, которой вскоре и суждено было свершиться.

Имя матери Пифагора не сохранилось. Но говорят, будто сам Мнесарх звал жену Пифаидой, а сына Пифагором в честь дельфийской прорицательницы Пифии¹, предсказавшей самосскому камнерезу рождение необыкновенного сына. Известно и другое мнение, что прозвище Пифагор дали мудрому учителю его ученики, ибо он высказывал истину столь же авторитетно, как и дельфийская Пифия. Последняя версия выглядит тем более правдоподобно, что и знаменитый философ Аристокл известен нам не по своему настоящему имени, а по прозвищу, которое он получил за свою мускулатуру гимнаста — широкий, широкоплечий, по-гречески — Платон (греч. *πλάτος* — ширина).

Предсказания Пифии сбылись: сын у Мнесарха родился на диво красивым, а вскоре проявился и острый ум мальчика. Старый рапсод² Гермодамант и философ Ферекид занялись его образованием; первый ввел юношу в звонкий круг муз, а второй обратил его ум к логосу. Союз музыки, поэзии и отточенной мысли, с малых лет провозглашенный в душе Пифагора, оказал на его мировосприятие огромное действие. И не является ли этот, столь характерный для античности *синкретизм* — соединение науки и искусства — проявлением не понятой нами до конца мудрости древних, мудрости целостного восприятия мира?

Скоро маленький остров становится тесным для Пифагора, и он отправляется путешествовать. Для жителя Самоса все дороги вели в Милет, где юный Пифагор встречается с прославленными мудрецами Фалесом и Анаксимандром. Возможно, по совету Фалеса Пифагор едет в Египет, бывший для древних эллинов своеобразной научной Меккой. Начались годы учений, посвящений и испытаний. Беседы со жрецами перемежались с долгим затворничеством в келье, созерцанием звезд и размышлениями о смысле жизни.

¹Пифия — жрица-прорицательница дельфийского оракула при храме Аполлона в Дельфах. Город Дельфы, расположенный у подножия горы Парнас, был крупнейшим религиозным центром Древней Греции. К Дельфийскому оракулу обращались с вопросами простые греки и цари. Прорицательница Пифия, сидя на золотом треножнике над расселиной скалы, в состоянии экстаза изрекала ответы вопрошавшим. Эти ответы трактовались как пророчества, данные богом Аполлоном. Полагают, что в экстатическое состояние Пифия приходила, вдыхая поднимавшиеся из расселины ядовитые испарения. Прорицания Пифии давались в нарочито неясной и двусмысленной форме и могли иметь самые противоречивые толкования. С 586 г. до н.э. один раз в четыре года в Дельфах проводились Пифийские игры — общегреческие празднества и состязания поэтов, музыкантов и атлетов.

²Рапсоды и аэды — странствующие певцы в Древней Греции.

Древнегреческий философ Ямвлих (ок. 250—ок. 330), автор сочинения «Жизнь Пифагора», сообщает, что Пифагор провел в Египте 22 года, затем в 525 г. до н.э., когда Египет был завоеван персидским царем Камбизом, попал в плен к персам и еще 12 лет пробыл в вавилонском плену. Надо сказать, что сочинение Ямвлиха, написанное через 800 лет после смерти Пифагора, — одна из наиболее поздних и наиболее приукрашенных биографий самосского мудреца. На наш взгляд, цифры Ямвлиха преувеличены примерно вдвое.

Но, несмотря на крайне противоречивые сведения о путешествиях Пифагора, само научное творчество, религиозно-философское учение и образ жизни мудреца говорят о том, что он в избытке почерпнул восточной мудрости. В самом деле, Пифагор доказал свою знаменитую теорему, но это же свойство прямоугольного треугольника было известно вавилонянам по крайней мере в эпоху царя Хаммурапи, т.е. более чем за 1000 лет до Пифагора! *Метемпсихоз* — религиозно-мистическое учение о переселении души умершего во вновь рожденное животное, которое проповедовал Пифагор, определяло весь строй мысли и жизни египтян, их ритуал бальзамирования тела умершего. Как и египтяне, Пифагор носил ослепительно белые одежды и выполнял многие их обряды, имел чрезмерное пристрастие ко всякого рода таинствам, магии, числовой мистике — все это имеет ярко окрашенный восточный колорит.

В возрасте *акме*¹, т.е. около 530 г. до н.э., Пифагор возвратился на родную Самос. Жизнь на Самосе изменилась неузнаваемо: с приходом Поликрата к власти строительство и торговля буквально заклокотали. Строился новый рынок, вокруг Самосской гавани возводилась огромная дамба, перестраивался храм Геры. Но самым грандиозным и искусным сооружением стал самосский тоннель, по которому проходил водопровод, снабжавший город питьевой водой. Тоннель строился с двух сторон, причем углы проходки были рассчитаны настолько точно, что оба хода сошлись под горой с ничтожной ошибкой. Геродот сообщает, что строителем акведука был некий Евпалий. Но вполне возможно, что и Пифагор, бывший в это время на Самосе, участвовал в обсуждении геометрической части этого смелого инженерного проекта. Этот тоннель является едва ли не единственным «живым» свидетелем прекрасной математической подготовки древнегреческих строителей — современников Пифагора. Только строитель, блестяще владеющий геометрией и свято верящий в ее непогрешимость, мог так дерзко проложить под землей прямую линию!

Но стройки Поликрата были стройками на костях покоренных народов, Пифагор болезненно воспринял атмосферу тирании и насилия, царившую на Самосе. От ее гнета не спасали Пифагора даже толстые стены пещеры, которую он облюбовал в окрестностях Самоса для своих занятий. Мысль о том, что не пристало философу, свободному ду-

¹Акме (греч. ακμή — край, вершина) — у греков возраст высшей степени расцвета мужчины, около 40 лет.

хом, жить в этой атмосфере, не покидала Пифагора. И тогда Пифагор покинул Самос и переселился в Кротон — небольшую греческую колонию на юге Апеннинского полуострова.

«Достигнув Италии, он появился в Кротоне и сразу привлек там всеобщее уважение как человек, много странствовавший, многоопытный и дивно одаренный судьбой и природою... С виду он был величав и благороден, а красота и обаяние были у него и в голосе, и в обхождении, и во всем... Он так привлекал к себе всех, что одна только речь, произнесенная при въезде в Италию, пленила своими рассуждениями более двух тысяч человек; ни один из них не вернулся домой, а все они вместе с детьми и женами устроили огромное училище в той части Италии, которая называется *Великой Грецией*, поселились при нем, а указанные Пифагором законы и предписания соблюдали нерушимо, как божественные заповеди». Так описывал приезд Пифагора в Кротон в сочинении «Жизнь Пифагора» древнегреческий философ Порфирий (ок. 223—ок. 304).

В Кротоне Пифагор учредил нечто вроде религиозно-этического братства или тайного монашеского ордена. Это был одновременно и религиозный союз, и политический клуб, и научное общество, члены которого обязывались вести так называемый *пифагорейский* образ жизни. Быстро завоевав в Кротоне широкую известность, пифагорейский союз стал центром духовной и общественной жизни полиса.

Чем же объясняется феноменальная популярность Пифагора в Кротоне? Прежде всего, конечно, незаурядными личными качествами философа, украшенными к тому же и ореолом вечного странника, а возможно, и мученика. Но не только сила личности и мудрость Пифагора, но и высокий нравственный потенциал проповедуемых им идей привлекали к нему единомышленников.

«Для всех, и для многих, и для немногих, было у него на устах правило: беги от всякой хитрости, отсекай огнем, железом и любым оружием от тела — болезнь, от души — невежество, от утробы — роскошество, от города — смуту, от семьи — ссору, от всего, что есть, — неумеренность».

«Вещей, к которым стоит стремиться и которых следует добиваться, есть на свете три: во-первых, прекрасное и славное; во-вторых, полезное для жизни; в-третьих, доставляющее наслаждение. Наслаждение имеется в виду не пошлое и обманчивое, но прочное, важное, очищающее от хулы».

Эти два отрывка из «Жизни Пифагора» Порфирия рисуют высокий нравственный облик великого эллина. Этические правила, завещанные Пифагором своим ученикам, были собраны в своеобразный моральный кодекс пифагорейцев, названный «Золотые стихи». Вот некоторые из дошедших до нас строк из этого сборника:

Через весы не шагай (т.е. не нарушай справедливости).

Огня ножом не вороши (т.е. не задевай гневных людей).

Не ешь сердца (т.е. не подтачивай душу страстями или горем).

Уходя, не оглядывайся (т.е. перед смертью не цепляйся за жизнь).

Будь с теми, кто ношу взваливает, а не с теми, кто ее сваливает (т.е. живи не праздно, а в труде).

Есть две поры, учил Пифагор, наиболее подходящие для размышлений: когда идешь ко сну и когда пробуждаешься ото сна. Поэтому день пифагорейцу надлежало заканчивать стихами:

Не допуская ленивого сна на усталые очи,
Прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь:
Что я сделал? чего не сделал? и что мне осталось сделать?

и начинать со стихов:

Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью,
Думой раскинь, какие дела тебе день приготовил.

Следуя этим правилам, пифагорейцы вставали до восхода солнца и шли на морской берег встречать рассвет. В утренней прохладе обдумывали они труды предстоящего дня, делали гимнастические упражнения и принимали завтрак. Сам Пифагор в эти часы часто успокаивал душу игрой на лире и пением стихов Гомера. Пифагорейцы с равным усердием заботились и о физическом, и о духовном развитии. Именно у пифагорейцев родился термин калокагатия (от греч. *καλόν* — прекрасное и *αἰσθητόν* — добро), обозначавший греческий идеал человека — гармонию эстетических (прекрасное) и этических (добро) начал.

Даже философия была для Пифагора не просто абстрактным любознательством, но и особой системой жизненных правил. Любовь к мудрости должна была охватывать не только ум, но и все существо философа, подчиняя его себе и делая его аристократом духа. Эта мысль нашла прекрасное выражение в одной из сентенций Пифагора: «Одни приходят на Олимпийские игры, чтобы состязаться, другие, чтобы покупать и продавать, а третьи, чтобы смотреть, — это люди высшей категории».

Кстати, и изобретение самого термина «философия» традиция приписывает Пифагору, видевшему себя не обладателем истины, а лишь человеком, стремящимся к ней как к недостижимому идеалу. Поэтому Пифагор утверждал, что он не есть воплощение мудрости — мудрец (софос), а лишь любитель мудрости — любомудр (философ)¹.

Но вместе с тем было в учении Пифагора и много мистического, туманного и недоступного не только для нас, но и для его современников. Например, учение о бессмертии души, о посмертном переселении души человека в животных, о том, «что все рожденное вновь рождается через промежутки времени, что ничего нового на свете нет и что все живое должно считаться родственным друг другу». Уже современник Пифагора поэт и философ Ксенофан подверг это учение язвительной критике.

¹От греч. *φιλος* — поклонник, любитель и *σοφος* — мудрец.

Само учение Пифагора было окружено тайной, оно не подлежало разглашению и, видимо, не записывалось. Поэтому неудивительно, что не сохранилось ни одной строки трудов Пифагора. Более того, в те простосердечные времена было принято приписывать своему учителю результаты открытий учеников, и по прошествии времени стало невозможным определить, что сделал в науке сам Пифагор, а что его ученики и последующие пифагорейцы. Споры вокруг «пифагорейского вопроса», начатые еще Аристотелем, не прекращаются третье тысячелетие, и чтобы достичь хоть какого-нибудь компромисса, сегодня принято вместо слов *учение Пифагора* говорить осторожнее — *пифагорейское учение*, пифагореизм.

Ритуал посвящения в члены пифагорейского братства также был окружен множеством таинств, чье разглашение сурово каралось. «Когда к нему приходили младшие и желающие жить совместно, — рассказывает Ямвлих, — он сразу не давал согласия, а ждал, пока их не проверит и не вынесет о них свое суждение». Но и попав в Орден, новички могли только из-за занавеса слушать голос Учителя, видеть же его самого разрешалось только после нескольких лет очищения музыкой и аскетической жизнью.

За 1000 лет античной традиции немногие достоверные сведения о Пифагоре были густо приправлены множеством легенд, сказок и небылиц, которые в новое время породили несерьезное отношение к Пифагору как исторической личности. Легенды наперебой объявляли Пифагора чудотворцем; сообщали, что у него было золотое бедро; что люди видели его одновременно в двух разных городах говорящим со своими учениками; что однажды, когда он со своей многочисленной свитой переходил реку и заговорил с ней, река вышла из берегов и громко, сверхчеловеческим голосом воскликнула: «Да здравствует Пифагор!»; что он предсказывал землетрясения, останавливал повальные болезни, отвращал ураганы, укрощал морские волны и так далее. Надо сказать, что рождению этих мифов потворствовал и сам Пифагор, часто называвший себя сыном бога Аполлона.

Смерть Пифагора также окружена красивыми легендами. Сказано, что нет пророка в отечестве своем: пифагорейский союз просуществовал недолго и к концу VI в. до н.э. подвергся кровавой расправе. Пифагорейцы бежали из Кротона в другие города, что во многом способствовало распространению учения Пифагора по всей Элладе и даже за ее пределы. По одной из легенд, дом в Кротоне, где Пифагор собирался со своими учениками, был подожжен неким Килоном в отместку за то, что Пифагор не принял его в свое братство. Преданные друзья бросились в огонь и проложили в нем дорогу Учителю, чтобы по их телам, как по мосту, он вышел из огня. Друзья погибли, а сам Пифагор, спасенный столь дорогой ценой, затосковал и лишил себя жизни. Случилось это около 500 г. до н.э.

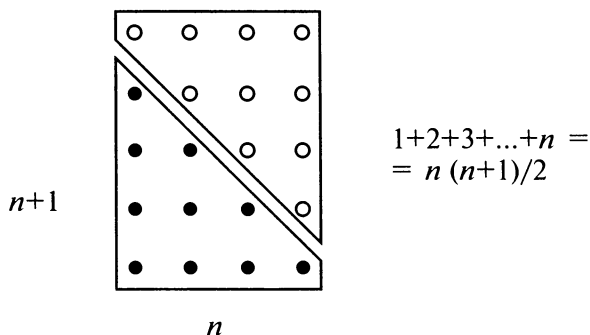
Много еще различных легенд и чудес можно было бы рассказать о Пифагоре. Но главное чудо, прославившее в веках имя великого эл-

лина, было в другом: Пифагор первым открыл человечеству могучий инструмент абстрактного знания. Он был первым, кто советовал своим ученикам переходить от изучения «телесного», т.е. физических объектов, которые никогда не бывают в одном и том же состоянии, к изучению «бестелесного», т.е. к изучению абстрактных математических объектов, дарующих человеку вечные непреходящие истины. Так математика у Пифагора становится орудием познания мира. А за ней следует и философия, ибо философия есть не что иное, как распространение специального (в данном случае математического) знания на область мировоззрения. Так рождается знаменитый пифагорейский тезис ***все есть число*** — кредо всей философии Пифагора. Так в недрах пифагорейского союза рождаются математика и философия.

Термин «математика» также восходит к Пифагору. Пифагорейская система знаний — $\mu\alpha\theta\eta\mu\alpha\tau\iota\kappa\alpha$ — состояла из четырех разделов: арифметики (учении о числах), геометрии (учении о фигурах), музыки (учении о гармонии) и астрономии (учении о строении Вселенной). С тех пор все четыре ветви пифагорейского учения стали объединяться одним словом — «матема» (греч. $\mu\alpha\theta\eta\mu\alpha$ — учение, знание) или «математика».

Поистине удивительно, что система знания и образования, заложенная Пифагором, просуществовала не просто века, а тысячелетия! И через 1000 лет, когда пал Рим, а вместе с ним и античная культура, эта система оставалась незыблемой. И через 2000 лет, в эпоху средневековья, *квадривиум* (лат. *quadrivium* — четырехпутье, пересечение четырех дорог) являлся повышенным курсом светского образования и объединял все те же четыре предмета: арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Средневековые монахи лишь предпослали *квадривиуму тривиум* (лат. *trivium* — трехпутье, перекресток трех дорог) — начальный курс образования, состоявший из трех гуманитарных дисциплин: грамматики, риторики и диалектики. *Тривиум* вместе с *квадривиумом* соединялись в знаменитые *семь свободных искусств* — систему средневекового образования, которая лишь с наступлением эпохи Возрождения была заменена классической системой образования.

Какой же вклад внесли пифагорейцы в свою «математу»? Начнем с арифметики, где с пифагорейцами связывают идею *фигурных чисел*, т.е. идею представления чисел камешками, разложенными на песке в виде правильных геометрических фигур. Такое наглядное изображение чисел помогало увидеть (именно увидеть глазами!) многие числовые закономерности, например, найти сумму n натуральных чисел.



Фигурное представление суммы n натуральных чисел как половины прямоугольного числа $n \cdot (n + 1)$

От фигурных чисел, представимых в форме квадрата или куба, пошло выражение «возвести число в квадрат или куб». Вершиной же пифагорейского учения о числе явилось нахождение алгоритма получения совершенных чисел, т.е. чисел, равных сумме всех своих делителей, кроме самого числа. Этот алгоритм в современных обозначениях имеет вид: если

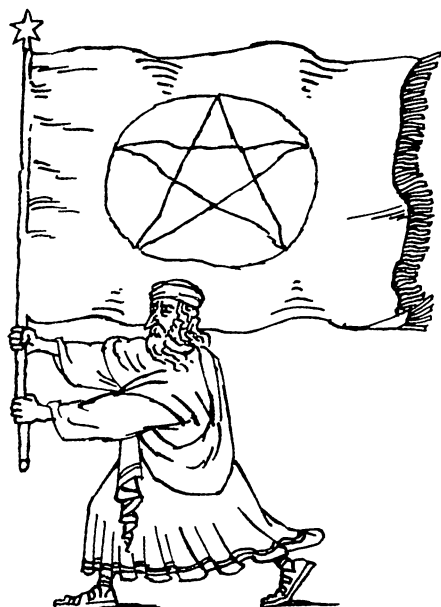
$p = 2^{n+1} - 1$ — простое число, то $q = 2^n(2^{n+1} - 1)$ — совершенное число. Пользуясь этим алгоритмом, пифагорейцы нашли первые четыре совершенных числа $q = 6, 28, 496, 8128$, соответствующих значениям $n = 1, 2, 4, 6$.

Но самым удивительным является тот факт, что до сих пор не обнаружено никакой другой формулы построения совершенных чисел и до сих пор не удалось доказать, что никаких других совершенных чисел нет! Остается загадкой и то, каким образом сумели пифагорейцы в невинной, казалось бы, забаве с раскладыванием камешков на песке разглядеть математическую проблему, которая и по сей день ждет своего решения?!

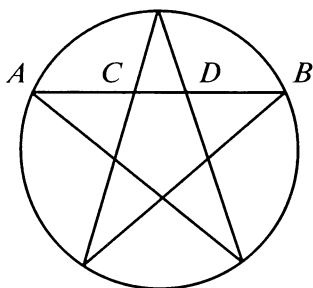
Не меньших результатов достигли пифагорейцы и в геометрии. С именем Пифагора связывают доказательство теоремы о сумме внутренних углов треугольника, изобретение геометрических способов решения квадратных уравнений. Особое внимание пифагорейцы уделяли изучению правильных фигур и тел, которые благодаря своей «правильности», т.е. наличию многих типов симметрии, как нельзя более отвечали всей пифагорейской философии о закономерном и гармоничном устройстве мироздания. Пифагору приписывают доказательство теоремы о возможности покрытия плоскости только тремя правильными фигурами: треугольниками, квадратами и шестиугольниками. Некоторые античные авторы утверждают, что Пифагор знал и все пять правильных тел — тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Особое внимание пифагорейцы уделяли *пентаграмме* — пятиконечной звезде, образованной диагоналями правильного пятиугольника.

В пентаграмме пифагорейцы обнаружили все известные в древности пропорции: арифметическую, геометрическую, гармоническую, а также знаменитую «золотую» пропорцию или *золотое сечение*. Совершенство математических форм пентаграммы находит отражение в совершенстве ее формы. Пентаграмма пропорциональна и, следовательно, красива. Видимо, именно благодаря совершенной форме и богатству математических свойств пентаграмма была выбрана пифагорейцами в качестве символа здоровья и тайного опознавательного знака. С легкой руки пифагорейцев пятиконечная звезда и сегодня является символом многих государств и реет на флагах едва ли не половины стран мира.



Самым же популярным открытием Пифагора в геометрии является, безусловно, доказательство знаменитой теоремы, носящей его имя: квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника, равновелик сумме квадратов, построенных на его катетах. И хотя сегодня «теорема Пифагора» обнаружена в различных частных задачах и чертежах: и в «египетском» треугольнике в папирусе времен фараона Аменемхета I (ок. 2000 до н.э.), и в вавилонских клинописных табличках эпохи царя Хаммурапи (XVII в. до н.э.), и в древнем китайском трактате «Чжоу-би суань цзинь», и в древнеиндийском геометрическо-теологическом трактате «Сульва сутра» (XII—V вв. до н.э.), несмотря на все это, сегодня принято считать, что Пифагор дал первое доказательство этой теоремы.



$$AD = \frac{AB+CD}{2} \quad \text{— арифметическое среднее}$$

$$AD = \sqrt{AB \cdot AC} \quad \text{— геометрическое среднее}$$

$$AC = \frac{2AB \cdot CD}{AB + CD} \quad \text{— гармоническое среднее}$$

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AD}{DB} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \quad \text{— золотое сечение}$$

Пропорции пифагорейской пентаграммы

Таким образом, мы подошли к важнейшему научному достижению Пифагора — *введению доказательства в геометрию*. Строго говоря, только с этого момента математика начинает существовать как дедуктивная наука, а не как собрание древнеегипетских и древневавилонских практических рецептов. Гениальная догадка Пифагора (или его учеников) состояла в том, что в геометрии можно установить конечное число идеальных объектов (точки, линии, поверхности) и конечное число первоначальных истин об этих объектах (аксиом), из которых с помощью логических правил можно получить неограниченное число геометрических истин (теорем). Так, в геометрии на рубеже VI—V вв. до н.э. впервые возник аксиоматический метод построения науки, а уже в III в. до н.э. в «Началах» Евклида грандиозная программа аксиоматизации геометрии была полностью завершена!

Не менее грандиозным открытием Пифагора в математике является и открытие несоизмеримости, т.е. обнаружение таких величин, отношение которых не может быть выражено с помощью отношения целых чисел. Это первый в истории науки чисто теоретический результат, который невозможно получить с помощью опыта. Скорее всего, попытки найти общую меру для стороны и диагонали квадрата привели пифагорейцев к этому революционному решению, стоящему в одном ряду с открытием дифференциального и интегрального исчисления Ньютоном и Лейбницем в XVII в., открытием неевклидовой геометрии Лобачевским в XIX в. или теории относительности Эйнштейном в начале XX в.

В астрономии у Пифагора нет столь блистательных результатов. Это и понятно, ведь научным методом Пифагора была дедукция. Но астрономия только через 2000 лет, когда были найдены законы движения и тяготения Ньютона, перешла в разряд дедуктивных наук, после чего стали возможными такие потрясающие воображение открытия, как открытие за письменным столом планеты Нептун Джоном Адамсом и Урбенom Леверье.

Пифагорейская астрономия была чисто умозрительной. Она парила на крыльях поэтических фантазий, не отягощая себя грузом эмпирических обобщений, как это делала ее вавилонская предтеча. Тем не менее, пифагорейцам принадлежат три блестящие гипотезы: о шарообразности Земли; о кругообразной форме траекторий планет; гипотеза о том, что Земля не является центром мироздания, а наравне с другими планетами совершает круговое движение. Характерно, что к первым двум гипотезам пифагорейцев привела посылка о гармоническом устройстве мироздания. Пифагор считал самой совершенной линией окружность, а самым совершенным телом — шар, и он не мог видеть иными траектории планет и их форму. Мир создан по законам красоты — вера в этот постулат и привела Пифагора к верным астрономическим догадкам.

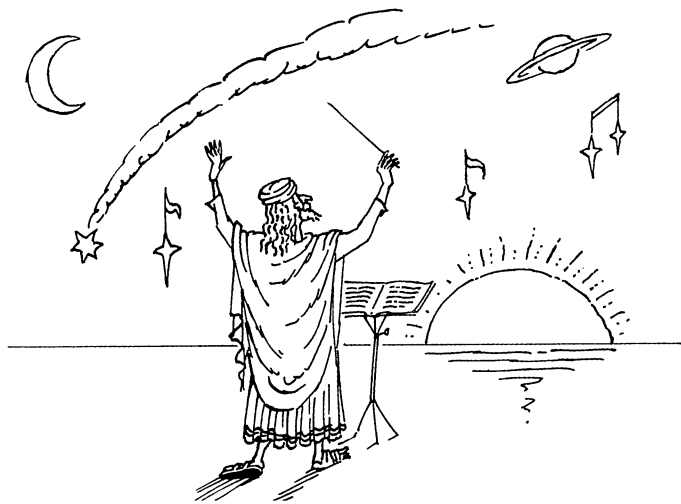
Не менее значительной оказалась и третья гипотеза Пифагора. И хотя пифагореец Филолай в центре мироздания помещал некий загадочный Центральный огонь, его космологическая модель является

прообразом гелиоцентрической системы мира. Примечательно, что и через 2000 лет в своем бессмертном труде «Об обращении небесных кругов» великий Коперник ссылаясь на авторитет великого Пифагора как автора доктрины о движении Земли.

Но самое замечательное открытие Пифагор совершил, пожалуй, в музыке. Согласно преданию, сам Пифагор обнаружил, что приятные слуху созвучия — *консонансы* — получаются лишь в том случае, когда длины струн, издающих эти звуки, относятся как целые числа первой четверки, т.е. как 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4. Кроме того, чем меньше число n в отношении $\frac{n}{n+1}$ ($n = 1, 2, 3$), тем созвучнее интервал. Это был одновременно и физический, и эстетический закон, имеющий математическое выражение.

Сделанное открытие потрясло Пифагора. Еще бы, ведь столь эфемерное физическое явление, как звук и тем более приятное созвучие, поддавалось числовой характеристике! Именно это открытие впервые указывало на существование числовых закономерностей в природе, и именно оно послужило отправной точкой в развитии всей пифагорейской философии, в формировании основного ее тезиса «все есть число». Вот почему день, когда Пифагор нашел закон консонансов, немецкий физик А.Зоммерфельд назвал днем *рождения математической физики*.

Идея музыкальных соотношений вскоре обрела у пифагорейцев «космические масштабы» и переросла в идею всеобщей, или мировой, гармонии. Согласно пифагорейской космологии Солнце, Луна и другие планеты располагались на небесных сферах и совершали вместе с ними круговые вращения. Тогда, как и все движущиеся тела, вследствие трения об эфир они издавали звуки, которые соединялись в музыкальные созвучия. Так рождалась чудесная музыка — «мировая музыка», или «гармония сфер» — музыка, без которой мир бы распался на части.



Учение о музыке сфер — самый поэтический и самый мистический мотив всей пифагорейской математики. Восхищение открытым Пифагором законом целочисленных отношений в музыке было столь велико, что столь же легко было переступить грань благоразумия. Лишь один шаг отделял пифагорейцев от самой светлой точки их математики до самой темной. Мистика чисел, которую уже Аристотель называл нелепой и безумной, пышным цветом расцвела по всей пифагорейской математике. И тем не менее, учение о музыке сфер пережило тысячелетия, оно звучало на тысячи голосов, начиная от самого Пифагора вплоть до «Гармонии мира» Иоганна Кеплера, написанной в XVII веке.

Итак, число становится основой всей пифагорейской философии. Этим философия Пифагора и его школы резко отличается от философии Фалеса и всей ионийской школы, стремившейся свести все сущее к той или иной материальной стихии. Как отмечает Гегель, по сравнению с ионийской философией «пифагорейская философия представляет собой переход от реалистической философии к интеллектуальной». Первооснову всего сущего пифагорейцы стали понимать не как природную форму, а как форму определения мысли. И это был первый шаг от стихийного материализма ионийской школы к объективному идеализму Платона.

Таким образом, впервые в истории человеческой мысли обратившись не к материальным стихиям мироздания, а к их геометрической структуре и арифметическим отношениям, пифагорейцы предвосхитили возникновение математического естествознания, чье стремительное развитие стало символом XX века. Если с древнего пифагорейского тезиса «все есть число» снять мистическую патину, которая не могла не образоваться на нем в атмосфере того времени, перенасыщенной мифологией, то нам откроется гениальное пророчество, прозвучавшее через 2000 лет в устах Галилея: *«книга Природы написана на языке математики»*.

«Но то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря гениальной интуиции пифагорейцам удалось сформулировать два тезиса, общезначимость которых подтвердило все последующее развитие науки: во-первых, основополагающие принципы, на которых зиждется мироздание, можно выразить на языке математики; во-вторых, объединяющим началом всех вещей служат числовые отношения, которые выражают гармонию и порядок природы». Так определил роль Пифагора в истории естествознания современный американский математик и историк наук М.Клайн. Пифагор более чем за 2000 лет предвосхитил возникновение математического естествознания, и в этом состоит величайший вклад Пифагора в сокровищницу мировой философии и науки.

Эвристическое (от Архимедовой «Эврики») свойство математики, позволяющее делать физические открытия «на кончике пера», со времен Пифагора вызывает восторженный трепет у естествоиспытателей. «Чудесная загадка соответствия математического языка законам физики является удивительным даром, который мы не в состоянии понять

и которого мы, возможно, недостойны» — так восторженно писал об этом свойстве математики, открытом Пифагором, наш современник лауреат Нобелевской премии по физике Юджин Вигнер.

Бессмертна и идея Пифагора о всеобщей гармонии, лежащей в основе мироздания. Заложенная Пифагором вера в красоту и гармонию Природы, в мудрую простоту и целесообразность ее законов, основанных на единых математических принципах, окрыляла творчество титанов современного естествознания от Иоганна Кеплера (1571—1630) до Альберта Эйнштейна (1879—1955). Эта идея есть путеводная звезда современного естествознания, которую открыл человечеству Пифагор.

Но отнюдь не безоблачным был путь Пифагора к признанию. Град насмешек и тень недоверия неизменно преследовали и самого Пифагора, и его учение. И среди тех, кто первым обрушил на Пифагора потоки злой иронии, был его младший современник Гераклит.

ГЕРАКЛИТ

(ок. 544/541 до н.э. — ?)



Все течет, все меняется.

Среди тех, кто первым обрушил на Пифагора поток злой иронии, был его младший современник Гераклит. «Пифагор, сын Мнесарха, предавался исследованию больше всех прочих людей и мудрость свою состряпал из многознания и обмана». Откуда такой сокрушающий отзыв о человеке, которому поклонялись толпы учеников и которого при жизни почитали за полубога? Чтобы понять это, надо понять жизнь и судьбу самого Гераклита.

Происходил Гераклит из свергнутого царско-жреческого рода Кодридов. Если бы судьбе угодно было распорядиться иначе, то он должен был стать царем в Эфесе — втором после Милета ионийском городе, славном своими богатствами и художественными сокровищами. Но власть греческой аристократии к концу VI в. до н.э. безнадежно трещала под натиском пробуждающихся демократических сил, и власть эту не смогли уже восстановить ни лидийцы, ни персы. В этих условиях Гераклит проявил присущую мудрецу дальновидность и уступил царский сан своему брату. Сам же наследник



эфесского престола удалился от общества и нашел убежище в храме Артемиды Эфесской. На ступенях храма Гераклит демонстративно играл с эфесскими мальчишками в бабки, а на упреки окружавших его горожан отвечал: «Чему дивитесь, негодяи? Разве не лучше так играть, чем управлять в вашем государстве?»

Меж тем, пока Гераклит играл с мальчишками, над Эфесом нависла смертельная опасность. К концу VI в. до н.э. вся Малая Азия оказалась под владычеством персов, чьи земли распростерлись от Геллеспонта до Индии и от Нила до Черного и Каспийского морей. Ни олицетворявший богатство царь Лидии Крез, ни египетский фараон Амасис, умерший (не от панического страха ли?) накануне вторжения персов, ни свободолюбивая Иония не смогли противостоять всепожирающему Молоху империи Ахеменидов. Попытка ионийских городов зимой 500/499 г. до н.э. поднять восстание против персов окончилась катастрофой. Милет — застрельщик Ионийского восстания — был безжалостно уничтожен. Теперь полчища Дария осадили Эфес.

Персам было хорошо известно, что эфесцы предоставляли свою гавань ионийскому флоту, кормили восставших и даже дали проводников в поход на Сарды, сожженные восставшими. Пробил час расплаты, и в этот страшный час мужество покинуло эфесцев. Два дня и две ночи, пока персы стояли у стен города, в Эфесе бушевал настоящий пир во время чумы. Эфесцы трусливо топили свой страх в вине, предавались разгулу и разбою, сводя последние счета с жизнью. Но вот на третью ночь осады пятна костров, окружавших город, рассыпались в зажженных факелах на мириады огненных брызг, заколыхались, забурили в ночной тьме и растворились на горизонте вместе с первыми лучами солнца. Персы неожиданно сняли осаду и ушли.

Большинство историков сходятся в том, что Гераклит спас Эфес от неминуемой гибели. Призванный своим другом Гермодором, бывшим в то время тираном Эфеса, Гераклит вместе с Гермодором вышел навстречу Дарию и провел в его стане успешные переговоры. Город был спасен. По всей видимости, мудрость Гераклита произвела на Дария глубокое впечатление, и вскоре эфесский мудрец получил от персидского царя официальное приглашение, текст которого сохранил для нас Диоген Лаэртский.

«Царь Дарий, сын Гистаспа, Гераклиту, мужу эфесскому, шлет привет. Тобою написана книга «О природе», трудная для уразумения и для толкования. Есть в ней места, разбирая которые слово за словом, видишь в них силу умозрения твоего о мире, о Вселенной и обо всем, что в них вершится, заключаясь в божественном движении; но еще больше мест, от суждения о которых приходится воздерживаться, потому что даже люди, искушенные в словесности, затрудняются верно толковать написанное тобой. Посему царь Дарий, сын Гистаспа, желает приобщиться к твоим беседам и эллинскому образованию. Поспешай же приехать, дабы лицезреть меня в моем царском дворце. Эллины, я знаю, обыкновенно невнимательны к своим мудрецам и пре-

небрегают прекрасными их указаниями на пользу учения и знания. А при мне тебя ждет всяческое первенство, прекрасные и полезные повседневные беседы и жизнь, согласная с твоими наставлениями».

«Гераклит Эфесский царю Дарию, сыну Гистаспа, шлет привет. Сколько ни есть людей на земле, истины и справедливости они чуждаются, а прилежат в дурном неразумении своем к алчности и тщеславию. Я же все дурное выбросил из головы, пресыщения всяческого избегаю из-за смежной с ним зависти и по отвращению к спеси. Потому и не приеду я в персидскую землю, а буду довольствоваться немногим, что мне по душе». Таков был ответ гордого эфесца, остававшегося самим собой и перед грозным персидским царем.

Была у Гераклита и еще одна причина помогать Гермодору. С пришествием Гермодора к власти Гераклит связывал надежды на нравственное обновление эфесцев. Великий мудрец простодушно полагал, что вместе со своим другом им удастся вырвать эфесцев из объятий порока, праздной лени и изнеженной роскоши и возродить в городе древний «Кодекс чести» — систему нравственных принципов, включающих в себя положения о праведном и умеренном образе жизни, о воинской доблести, о стремлении к гражданскому миру. Увы, по прошествии двух с половиной тысячелетий мы можем констатировать, что Гераклит лишь возглавил длинный список подвижников, пытавшихся переустроить нравственный облик рода человеческого.

Итак, эфесцы не вняли ни своему тирану Гермодору, ни своему мудрецу Гераклиту. Более того, вскоре они изгнали из города Гермодора, надоевшего им своими проповедями. Гнев Гераклита не имел границ: «Поделом бы эфесцам, чтобы взрослые у них все передохли, а город оставили недоросткам, ибо выгнали Гермодора, лучшего между ними, с такими словами: “Меж нами никому не быть лучшим, а если есть такой, то быть ему на чужбине и с чужими”».

С годами озлобление Гераклита против всех и вся приняло гипертрофированные формы. Гераклит щедро разбрасывает пригоршни насмешек и оскорблений как своим современникам, так и предшественникам: «Многознайство уму не научает, иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, да еще Ксенофана и Гекатея». Досталось даже Гомеру, обожаемому со священным трепетом каждым эллином. Слепому патриарху античной культуры, по словам Гераклита, «поделом быть выгнану с состязаний и высечену» — таковому наказанию подвергались атлеты, уличенные в плутовстве. В этом контексте становится естественной и та оценка Пифагора, с которой мы начали наш рассказ о Гераклите.

Но если к мыслителям и поэтам Гераклит обращается либо с желчным уничижением, либо с равнодушным неприятием, то сколь же велико должно быть презрение, питаемое им к народной массе! Толпа для Гераклита либо «подобна псам, лающим на того, кого они не знают», либо «подобна быкам, находящим счастье свое в пожирании гороха». В перепалках с толпой на ступенях храма Артемиды или в толчее эфесской агоры неумный сарказм Гераклита оттачивался в обоюдоострую форму:

Ослы солому предпочитают золоту.
Всякое животное направляется к корму бичом.

Надо сказать, что сами эфесцы давали Гераклиту повод для его неистовства. Уже более полувека Иония находилась под гнетом персов, однако, кроме слабой помощи восставшим милетянам, эфесцы практически ничего не сделали для обретения свободы. Утрата национальной независимости не укрепила, а, напротив, размягчила дух эфесцев, утонченные нравы Востока сладостным дурманом обволакивали их волю. Сograждане Гераклита погрязли в мелких страстях и низменных пороках, и это не могло не возмущать непримиримого общественного судию, каким был эфесский мудрец. Если же Гераклит действительно единолично спас Эфес от персидского разорения, то легко догадаться, сколь тяжело было ему видеть царившие вокруг общественную апатию и падение нравов. В этом случае человеконенавистнические ноты в его речах легко понять и даже простить.

Сколь щедро бросал Гераклит обвинения толпе, столь же неудержимо расточал он дифирамбы в адрес яркой индивидуальности, интеллектуальной и нравственной элиты общества. Здесь аристократический дух Гераклита вздымался во весь свой могучий рост:

Один для меня есть десять тысяч — если он наилучший.

Лучшие люди предпочитают одно: вечную славу всему тленному.

В жизни они стремятся к истине и после смерти обретают
бессмертие.

И вновь в речах Гераклита возвеличивание индивидуума, так что «повиновение воле одного есть закон», перемежается с бранью в адрес толпы, вобравшей в себя «много дурных, мало хороших», неспособной выслушать, высказать, выставляющей напоказ собственное невежество. Не помогает ей и обучение, да и само рождение ее есть сплошное несчастье. Вновь беспощадно бичует Гераклит человеческие слабости, людскую наглость, которую нужно «тушить скорее, чем пожар», и которую он называет падучей болезнью.

Надо полагать, что в словесных баталиях с Гераклитом эфесцы также не лезли за словом в карман. Так или иначе, жизнь Гераклита среди людей стала невыносимой. Доверив жрецам храма Артемиды труд всей своей жизни — трактат «О природе», Гераклит удаляется из Эфеса в горы. Здесь в тени лесистых долин и на просторе высокогорных лугов, доступных лишь Солнцу, Небу и Ветру, и жил он среди диких коз, питаясь растениями и травами. В неспешных блужданиях по склонам гор, в горной вышине и гордом одиночестве парил над долинами мятежный дух добровольного изгнанника. Гераклит чурался даже встреч с пастухами, да и сами жизнеобильные соотечественники избегали свиданий на узких козьих тропах с надменным и мрачным мудрецом.

Шли годы. В повседневных заботах забывались обиды, а скоро стало забываться и имя того странного старика, который целыми днями бродил среди гор. Все чаще его подлинное имя стали заменять проз-

вищем — Темный, за странный образ жизни и малопонятное учение, или Плачущий — за скорбный облик отшельника. Со временем эти два эпитета прочно срослись с именем Гераклита.

Никто не знал, сколь долго блуждал Гераклит среди гор. Но рано или поздно он заболел и вынужден был вернуться к людям. По свидетельству Диогена Лаэртского, Гераклит заболел водянкой. Он возвратился в родной Эфес и обратился к врачам с такой загадкой: могут ли они обернуть многодождье засухой? Врачи не поняли иносказания мудреца, а говорить попросту он уже не мог. Тогда Гераклит занялся лечением сам. Он закопался в бычьем хлеву, надеясь теплотой навоза испарить дурную влагу. Однако способ этот не принес Гераклиту облегчения, и вскоре он умер.

По другой версии, врачи отказались лечить Гераклита. Тогда он лег на солнце и велел рабам обмазать его навозом с той же лечебной целью. Так он пролежал два дня, не почувствовав облегчения. Однако потом он уже не мог очиститься от навоза и стал добычей собак, которые не узнали его и растерзали старца.

Увы, трагический конец Гераклита является в какой-то мере закономерным для человека, противопоставившего себя обществу. Мудрецы в Элладе пользовались безмерным и неизменным уважением. В каждом греческом полисе был свой мудрец, как и был свой бог. И тот и другой являлись обязательными атрибутами полиса. Мудрец был посредником между богами и горожанами. Он толковал знамения, разглядывая в них волю богов, участвовал в разрешении споров, составлении законов, да и вообще во всех значительных событиях полиса. К несчастью, вздорный характер Гераклита сделал для него все эти радости невозможными. На исходе жизни Гераклит оказался совсем один, и даже год его смерти так и остался неизвестным.

Таковы немногие сведения, известные нам из биографии Гераклита. Да и сама жизнь эфесского мудреца была скупа на внешние события. Зато необычайно богатым был внутренний мир Гераклита, и это богатство он сохранил для нас в своем философском наследии. В отличие от семи мудрецов, бывших государственными людьми и владевших мудростью «по долгу службы», в отличие от пифагорейцев, которых к занятиям математикой обязывал устав их союза, Гераклит был не только первым «чистым» ученым-философом, т.е. человеком, не владевшим ни одним специальным знанием, но бравшимся судить обо всем, но и первым «чистым» ученым, проявлявшим самостоятельный и бескорыстный интерес к науке.

Начиная от античности и вплоть до наших дней, имя Гераклита остается одним из популярнейших в истории философии. Философы самых разнообразных и противоположных направлений считали своим долгом не только высказаться о Гераклите, но и причислить его в свой лагерь. Гераклита объявляли эмпириком и сенсуалистом, рационалистом и метафизиком, материалистом и даже экзистенциалистом. С ним полемизировали Платон и Аристотель, его цитировали стоики и пер-

вые христианские отцы церкви, его поднимали на щит теологи и мистики. Даже Ницше — этот безудержный ниспровергатель авторитетов — признавался, что чувствовал себя теплее и уютнее только вблизи Гераклита.

В 1961 г. по рекомендации Всемирного Совета Мира отмечалось 2500-летие со дня рождения Гераклита. Подобный юбилей в истории города вызывает глубокое уважение, но применительно к человеку такая дата просто не умещается в сознании. Сколь же высоким должен быть взлет человеческого гения, чтобы его имя не стиралось в тысячелетней и тысячетрудной истории человечества!

Но почему Гераклита поднимали на щит практически все философы самых противоположных направлений? Дело здесь не столько в том, что от главного труда Гераклита «О природе» сохранилось немногим более ста фрагментов, да и то в пересказе более поздних авторов, сколько в своеобразии образа мышления и стиле Гераклита, действительно туманном и неоднозначном. По этой причине Гераклита еще при жизни прозвали Темным. Позднее Сократ, обожавший ясные и точные определения, был озадачен замысловатыми высказываниями эфесского мудреца и, прочитав Гераклитово сочинение, сказал: «То, что я понял, превосходно. Думаю, что таково же и то, чего я не понял».

«Темноту» Гераклитова стиля объясняли по-разному: Аристотель — небрежностью изложения, Цицерон и Диоген Лаэртский — умышленным желанием оградить свой труд от праздного любопытства толпы, Плотин — стремлением заставить читателя самого потрудиться над объяснением природы. Все эти толкования «темноты» Гераклита, разумеется, недостаточны.

Главная причина заключалась в другом: Гераклит первый из философов осуществлял титаническую работу по переходу от мифологического мировоззрения к философскому. Но новое мировоззрение и его научная оболочка — философия — требовали и нового языка. И здесь перед Гераклитом возникают неожиданные трудности: «сквозь магический кристалл» своей гигантской интуиции он угадывает новое философское содержание, но с трудом находит для него адекватные формы в арсенале образного поэтического языка. В этом несоответствии между философским содержанием и поэтической формой, в которую оно было облечено, по-видимому, и заключается главная причина «темноты» Гераклита. Зато там, где это соответствие все-таки достигалось, мы видим во всем блеске сияние Гераклитовых метафор, мы ощущаем бездонную глубину Гераклитовых обобщений и обжигающую остроту Гераклитовой мысли, мы слышим торжественный, энергичный, вдохновенный и пророческий гимн рождающейся новой науке — философии, гимн, сложенный Гераклитом.

Была, конечно, и сугубо личная причина Гераклитовой «темноты». Уверовав в то, что его словами глаголет Логос — Вселенский Разум, Гераклит без тени сомнения следовал страстному и загадочному язы-

ку Сивилл¹ и Пифий. Пафос и таинство — это скипетр и держава, вложенные в руки Гераклита Сивиллой и Пифией, о чем свидетельствуют два фрагмента самого Гераклита: «Сивилла вдохновенными устами вещает мрачное, неприкрашенное и непримазанное и, побуждаемая божеством, пророчествует сквозь тысячелетия» и «Владыка, чье прорицалище находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает». Эти два высказывания можно поставить эпиграфами ко всему философскому наследию Гераклита.

Гераклит по праву считается крупнейшим материалистом и диалектиком Эллады. Как материалист, Гераклит продолжил традиции философской школы родной Ионии, полагая, что в основе мироздания лежит некоторый конкретный вид материи. Однако в качестве такового материального первоначала всего сущего Гераклит берет не воду, как Фалес, не воздух, как Анаксимен, и не бескачественный апейрон, как Анаксимандр, а огонь — стихию наиболее легкую и подвижную². Путем сгущения, по Гераклиту, из огня появляются все вещи — и вода, и воздух, и земля, и любое тело и вещество, а путем разряжения в

¹Сивиллы — полумифические женщины-прорицательницы. Как и дельфийские Пифии, Сивиллы в экстатическом состоянии предсказывали будущее в нарочито двусмысленной форме, а их ответы толковались жрецами. Когда лидийский царь Крез обратился к дельфийской Пифии с вопросом, начинать ли ему войну с персами, он получил ответ: «Крез, Галис перейдя, великое царство разрушит». Крез был разбит персами. Однако жрецы, ничтоже сумняшеся, заявили, что предсказание Пифии сбылось, ибо там не было указано, какое именно из великих царств будет разрушено.

Культе Сивиллы от греков перешел к римлянам, у которых наибольшей известностью пользовалась Куманская Сивилла. По преданию, она предложила римскому царю Тарквинию Гордому купить у нее девять Сивиллиных книг, написанных на пальмовых листьях. Когда царь отказался, пророчица сожгла три книги, затем повторила свое предложение и при повторном отказе сожгла еще три. Уцелевшие три книги царь все-таки купил по совету авгуров, и они хранились в храме Юпитера на Капитолии. Содержание Сивиллиных книг представляло собой причудливое нагромождение греко-римских, иудейских и христианских верований, афоризмов и пророчеств.

Я книг Сивиллиных читаю письмена.
Сквозь бездну ночи
Я будущие вижу времена.

(А. Мицкевич)

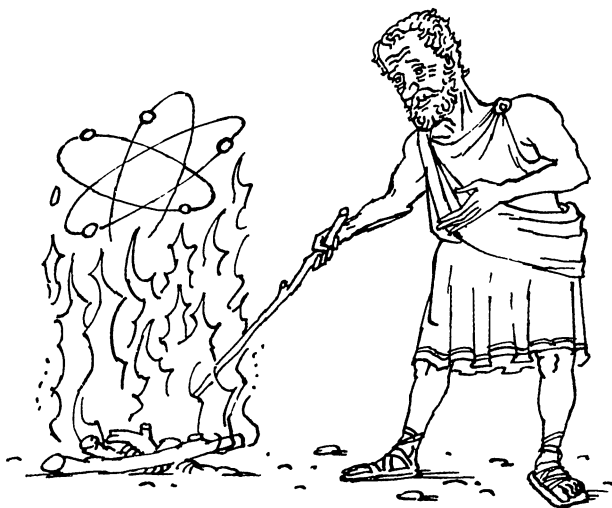
²Не прошло и полувека, как еще один мудрец Эллады, Эмпедокл (ок.490 — ок. 430 до н.э.), пытаясь разрешить трудности объяснения с помощью одного первоначала всего многообразия вещей и событий, царским жестом примирил все эти теории и выдвинул идею о четырех элементах мироздания — земле, воде, воздухе и огне. Еще через столетия Платон развил это учение, дополнив четыре стихии Эмпедокла пятой — мировым эфиром и сопоставив этим пяти стихиям пять правильных геометрических тел, называемых с тех пор телами Платона.

огонь же возвращаются. «Все обменивается на огонь, и огонь — на все, подобно тому, как золото обменивается на товары, а товары на золото».

Этот мировой огонь «мерами вспыхивает и потухает», так что «из огня все рождается, и в огне все в конце концов уничтожается». Таким образом, мир, по Гераклиту, пребывает в вечном движении: он то целиком воспламеняется и достигает таким образом совершенства, то постепенно угасает, обращаясь во мрак и небытие, чтобы затем вновь разгореться и вновь прийти к совершенству. Не правда ли, все это очень напоминает самую современную теорию пульсирующей Вселенной?!

Поскольку мир, по Гераклиту, есть форма существования первоогня — вечно движимого и вечно активного, то и материя, как одна из ипостасей первоогня, неотделима для Гераклита от энергии и по сути своей есть форма существования энергии. Подобные воззрения на мироздание — самые передовые, свидетельством тому мнение одного из творцов современной физики Вернера Гейзенберга: «Если заменить слово «огонь» словом «энергия», то почти в точности высказывания Гераклита можно считать высказываниями современной науки. Фактически энергия — это то, из чего созданы все элементарные частицы, все атомы, а потому и вообще все вещи. Одновременно энергия является движущей силой. Энергия есть субстанция, ее общее количество не меняется, и, как можно видеть во многих атомных экспериментах, элементарные частицы создаются из этой субстанции. Энергия может превращаться в движение, в теплоту, в свет и электрическое напряжение. Энергию можно считать причиной всех изменений в мире».

Свое учение о мире как вечном превращении огня Гераклит обобщил в знаменитом изречении: «Этот космос единый для всех, не создан никем из богов и никем из людей, но он всегда был, есть и будет



вечно живым огнем, в полную меру разгорающимся и в полную меру угасающим». Заметим, что здесь же Гераклит вполне недвусмысленно отрицает и мифологическую картину мира, хотя мифологическое начало, разумеется, еще очень сильно в сознании Гераклита и в другом месте он с пафосом восклицает: «Огонь грядущий все обоймет и всех рассудит!» Но не так ли о судном огне сказано и в Апокалипсисе: «Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем»?!

Но если мир состоит из огненной первоосновы, то она должна находиться в вечном движении и непрерывно переходить из одной формы в другую, иначе мир стал бы морем огня. Для иллюстрации этой мысли Гераклит находит образ в гончарной мастерской: «Подобно тому, как из одной и той же глины можно лепить животных, а затем смешивать и вновь лепить и смешивать, и так делать одно за другим без перерыва, точно так же природа из одной и той же материи первоначально вывела наших предков, затем непрерывно вслед за ними породила наших отцов, затем — нас, а затем снова одних за другими в круговороте будет рождать. И поток происхождения, текущий столь непрерывно, никогда не остановится, как и противоположный ему поток гибели... Из смерти земли рождается вода, из смерти воды — воздух, из смерти воздуха — огонь...»

Гениальная идея вечного движения нашла у Гераклита воплощение в гениальном образе вечно текущей реки. Вечно текущая и потому вечно новая река является для Гераклита символом и вечно обновляющегося бытия. Этот постулат о всеобщей изменчивости мира — один из краеугольных камней всей диалектики — сжат у Гераклита в знаменитые формулы: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», ибо «на входящих в ту же самую реку набегают все новые и новые воды». Впоследствии мысль эта на разные лады обыгрывалась более поздними философами, пока, наконец, не обрела у Платона свою чеканную форму: «Все течет, и ничто не остается на месте», и еще более выразительно и кратко: «Все течет».

Образ вечно текущего потока, в который нельзя войти дважды и в котором ничто не повторяется, приобретает в Гераклитовом мироздании космические масштабы, а в философии вырастает в универсальный принцип диалектики — учение о всеобщем становлении. Сегодня невозможно представить диалектики без этого учения, высоко ценимого и творцом систематической теории диалектики Георгом Гегелем.

Но в чем причины вечного движения и вечного становления в мире? Гераклит находит эти причины и извлекает из них квинтэссенцию всей диалектики — учение о единстве, борьбе и гармонии противоположностей, учение, составившее ядро всего диалектического метода. Идея о раздвоении всего сущего на противоположные начала и о борьбе этих начал как источнике самодвижения мира сыграла колоссальную роль в истории человеческой мысли. Именно в противоречиях, органически присущих всем явлениям окружающего мира, и видел Ге-

раклит истинный источник развития Вселенной. Поскольку прямое заимствование этой идеи у древнекитайских философов¹ представляется невероятным, то следует признать, что по крайней мере в Элладе, а значит и во всей европейской философии, концепция единства и борьбы противоположностей восходит к Гераклиту.

Развивая концепцию о раздвоении всего сущего на противоположности, Гераклит приходит к фундаментальному положению диалектики — идее единства противоположностей. Это единство может проявляться в виде непрерывного перехода из одной противоположности в другую: «холодное становится теплым, теплое — холодным, влажное — сухим, сухое — влажным»; и в виде тождества противоположностей: «одно и то же в нас — живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое», «все едино: делимое — неделимое, рожденное — нерожденное, смертное — бессмертное», «в окружности начало и конец совпадают».

Единство противоположностей представляет собой сложный диалектический процесс становления, включающий в себя два противоположных начала: борьбу и гармонию. Именно поэтому Гераклит утверждает, что «война есть отец всего, царь всего», «она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными». Эти слова Гераклита — отнюдь не проповедь войны, как их иногда представляют, памятуя характер мрачного эфесца, а лишь необходимые условия становления.

Но если борьба постоянно разрушает противоположности, то, с другой стороны, гармония постоянно их восстанавливает. В результате «расходящееся с самим собой приходит в согласие, в самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры». *Гармония лука и лиры* — знаменитый образ Гераклита, имевший массу толкований. Одни видели в нем единство внешних форм лука и лиры при противоположном наз-



¹ Имеется в виду знаменитое учение Инь-Ян в древнекитайской философии, согласно которому из первоначально бесформенного мрака родились два начала, гармонизировавшие мир и приведшие его в движение: женское начало Инь, символизирувавшее Землю, тьму, ложь, зло, бездействие, безобразие, и мужское начало Ян, обозначающее Солнце, свет, добро, правду, действие, красоту. В столкновении и борьбе этих двух мировых начал, по древнекитайским воззрениям, и заключался источник жизни. Надо сказать, что в VI в. до н.э. в математике и философии Древнего Китая, Древней Индии и Древней Греции возникло немало поразительно схожих идей, одновременное появление которых до сего дня остается загадкой.

начении, другие — напряжение двух уравнивающих друг друга противоположных сил, третьи — символы тождества жизни и смерти (лира — инструмент, сопровождающий радости жизни, лук — орудие смерти), четвертые — атрибуты бога Аполлона и образы добра и зла.

Итак, гармония для Гераклита — это внутреннее единство, согласованность противоположностей, образующих целое. «Враждующее соединяется, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все происходит через борьбу». Борьба обновляет и сохраняет гармонию, не дает ей онеметь в покое, ибо покой — «свойство мертвых». Со времен Гераклита гармония понимается как важнейшее слагаемое красоты и искусства, когда «из всего единое и из единого все» образуется. Именно Гераклитово определение гармонии привело через 2000 лет итальянского ученого-гуманиста и архитектора Л. Б. Альберти (1404—1472) к знаменитому определению красоты, которая, по Альберти, «есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединенных тем, чему они принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже».

Борьба противоположностей, по Гераклиту, не есть случайный, хаотический процесс, а совершается по всеобщему закону движения, который он называет логосом. Учение Гераклита о логосе вот уже третье тысячелетие служит предметом оживленных дискуссий: религиозно-идеалистическая традиция, зародившаяся еще в античности, поставила это учение под свои знамена, трактуя его как учение о божественной силе мира; напротив, материалистическая традиция, также достаточно древняя, понимает логос как необходимость и универсальную закономерность; известны также толкования логоса как судьбы, вечности, мудрости, закона и, наконец, слова.

Любопытно, что в греческой мифологии слово «логос» означало «словоблудие», «пустые речи», тогда как «правдивые речи» назывались «мифосами». С развитием философской мысли, и в особенности после Гераклита, значения «логоса» и «мифоса» меняются на противоположные: «мифос» стал обозначать сказки, пустые рассказы — плоды ничем не сдерживаемых фантазий, а «логос», напротив, — разумное слово, результат логических и даже математических построений.

Как же понимал логос сам Гераклит? Для эфесского мудреца логос — это образ-понятие, разумная необходимость, всеобщий закон, который определяет все процессы окружающего мира. Логос внутренне присущ мирозданию; он вечен, ибо вечен и сам мир; он не навязан природе никем из богов и никем из людей. «Сущность судьбы проявляется в логосе, который управляет всем через свою сущность».

«Не мне, но логосу внимая...» В этих словах Гераклита с присущей ему страстью звучит убежденность в том, что логос — это непреходящий, вечный и неизменный порядок, царящий в природе, это движущая сила мироздания.

Однако Гераклитов логос не есть только чистая абстракция и не есть только объективный закон природы. Душе человека — психе — также присущ свой внутренний субъективный логос. Субъективный логос человека и объективный логос мироздания едины, а в душе лучших из людей они находятся в гармонии и согласии, ибо «мышление — великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно». И все-таки логос духовной жизни, по Гераклиту, особенно трудно постижим и доступен: «По какому бы пути ты ни шел, границ психеи не найдешь, столь глубок ее логос». Таким образом, эфесский мудрец был одним из первых философов, кто осознал всю глубину и безбрежность внутреннего мира человека, все те нескончаемые кручи, завалы в пропасти, которые разверзаются перед каждым, кто осмелится приблизиться к великой тайне, скрытой в трех знаменитых древних словах «познания самого себя».

Много еще можно рассказывать о философском наследии Гераклита, вглядываясь в отдельные вершины его творчества — высокие, неприступные и часто окутанные плотной пеленой тумана, обсуждать их самые противоречивые толкования. На сотню небольших фрагментов сочинения Гераклита, зачастую содержащих не более пяти слов, написаны тысячи статей и монографий объемом в сотни тысяч страниц. Однако столь безудержное «раскладывание по косточкам» философии Гераклита, да и любого творческого наследия вообще, таит в себе новую опасность, о которой предупреждают слова выдающегося знатока и ценителя античности профессора А. Ф. Лосева (1893—1988)¹: «Стремясь «знать очень много» о Гераклите, мы часто расчленяем его философию на множество концепций, при этом начинаем забывать о том, что восприятие мира у него было очень цельное». Да, Гераклит был цельной личностью, целиком отдавшей себя философии, и столь же цельными были его учение, его воззрения на великие тайны мироздания. Но...

¹ Судьба последнего философа русского Серебряного века Алексея Федоровича Лосева счастлива и трагична. Счастлива, потому что до последнего дня своей 95-летней жизни Лосев сохранил поразительную работоспособность и успел завершить главный труд — восьмитомную «Историю античной эстетики». Трагична, потому что другие восемь томов его сочинений, написанных на полвека ранее (1927—1930), были преданы анафеме, а сам автор, будучи незаконно репрессирован, продолжал свои философские изыскания на строительстве Беломорско-Балтийского канала, откуда писал: «Я закован в цепи, когда в душе бурлят непочатые и неистощимые силы». И все-таки судьба А. Ф. Лосева счастлива, ибо рукописи не горят. Сегодня огромное философское наследие А. Ф. Лосева обретает свое второе рождение. Наследие это еще умножит нетленную славу своего автора. И это безмерно весомее, чем титул академика, который Алексей Лосев так и не получил, как не получил его в свое время Георг Гегель.

Нарисованная Гераклитом картина мира — мира, сотканного из противоречий, мира, беспрерывно меняющегося, мира, в котором «борьба — отец всему и всему царь» и в котором «все течет», вряд ли могла принести отдохновение философу, да и любому мыслящему человеку вообще. «Поиски чего-то вечного — один из глубочайших инстинктов, толкающих людей к философии» — это признание современного философа Бертрана Рассела. Но при этом вечный покой всегда ближе и комфортнее для человека, нежели вечное движение. Человеку гораздо приятнее осознавать, что Вселенная, в которой он живет, вечна и неизменна, чем ходить под тяжестью мысли о том, что когда-нибудь она непременно разлетится на части или схлопнется в бесконечно малый объем. И вот Гераклитова доктрина вечного потока а priori разрушала надежды философов на обретение душевного покоя и равновесия.

Но греки всегда отличались страстью и безудержностью — как в любви к жизни, так и в мечтах и научных теориях. И если Гераклит учил, что все течет, *все изменяется*, то его современник, а возможно, и сверстник Парменид в противовес великому эфесцу утверждал: в этом мире *ничто не изменяется*.

ПАРМЕНИД

(ок. 544/541 или ок. 515 до н.э. — ?)



Ибо мыслить — то же, что быть.

Если Гераклит учил, что все течет, *все изменяется*, то его современник, а возможно, и сверстник Парменид в противовес великому эфесцу утверждал: в этом мире *ничто не изменяется*. Если Гераклит жил на Дальнем Востоке Эллады, в овеванном жаркими ветрами Малой Азии Эфесе, то Парменид жил на Дальнем Западе Эллады, в Великой Греции, в Элее, куда доносилось грозное ворчание огнедышащей горы Везувия. Если фигура Гераклита одинокой глыбой возвышается среди великих мудрецов Эллады, то Парменид окружен верными учениками — элеатами, первым среди которых был славный Зенон. Если Гераклит считается первым великим диалектиком античной философии, то Парменид по праву называется ее первым метафизиком¹.

¹Метафизика (от греч. *мета та φυσικα* — после физики) — область философии, рассматривающая сверхчувственные принципы и начала бытия. В отличие от диалектики (греч. *διαλεκτική* — искусство беседы, спора), усматривающей внутренний источник развития природы и общества в единстве и борьбе противоположностей, метафизика отрицает качественное саморазвитие бытия через противоречия, рассматривает «бытие само по себе», тяготея к статичной и умозрительной картине мира. Термин «метафизика» ввел в употребление Андроник Родосский (I в. до н.э.), систематизировавший произведения Аристотеля и назвавший так группу трактатов Аристотеля, следовавших после его работ по физике.

Жизнь Парменида не богата внешними событиями, да и о них мы практически ничего не знаем. Вся жизнь Парменид прожил в родной Элее и своей затворнической жизнью напоминает другого великого философа, отстоящего от Парменида на два с лишним тысячелетия, — Иммануила Канта. Правда, в отличие от «кенигсбергского затворника» Канта, безвыездно прожившего все свои восемьдесят лет в родном Кенигсберге, Парменид отлучался в Афины, но и эта поездка, выражаясь современным языком, преследовала не туристические, а чисто научные цели.

Как утверждает Платон в диалоге «Парменид», однажды на Великие Панафиней¹ в Афины прибыли Парменид и его любимый ученик Зенон. «Парменид был уже очень стар, совершенно сед, но красив и представительен; лет ему было примерно за шестьдесят пять. Зенону же тогда было около сорока, он был высокого роста и приятной наружности; поговаривали, что он был любимцем Парменида. Они остановились у Пифодора, за городской стеной, в Керамике. Сюда-то и пришли Сократ и с ним многие другие, желая послушать сочинения Зенона, ибо они тогда впервые были привезены им и Парменидом. Сократ был в то время очень молод».

Зная год рождения Сократа (469 г. до н.э.) и учитывая, что для беседы на равных с прославленными мудрецами ему должно быть по крайней мере лет двадцать, легко подсчитать, согласно Платону, год рождения Парменида. Получаем 514 г. до н.э. или несколько ранее, так как в момент встречи Пармениду было «за шестьдесят пять». С другой стороны, Диоген Лаэртский указывает, что акме Парменида, как и Гераклита, приходилось на 69-ю Олимпиаду, т.е. на 504—501 гг. до н.э., откуда год рождения Парменида приходится на 544—541 гг. до н.э. Вот почему год рождения Парменида часто указывается двумя датами. Относительно года смерти Парменида, как и Гераклита, мы не имеем даже столь приблизительных ориентиров.

Элея, родной город Парменида, ничем не выделялась среди остальных южноиталийских колоний: не было в ней ни мощи и богатства Сиракуз, ни изысканной роскоши и праздности Сибариса. В отличие от других колоний-полисов Великой Греции, расположенных на плодородных землях с интенсивным земледелием, жители Элеи, как сообщает Страбон, «из-за скудности почвы были вынуждены обратиться

¹Празднество Великих Панафиней, т.е. Всеафинские празднества, устраивалось в июле-августе третьего года каждой Олимпиады (четырёхлетнего цикла греческого календаря). Во время празднества чествовали Афины Палладу, покровительницу города. Торжественная процессия несли в дар богине расшитый пеплос (верхняя женская одежда) с изображением подвигов Афины. Процессия поднималась на Акрополь, где в храме Эрехтейон в день рождения Афины совершался обряд ее одевания. По преданию, именно на Панафинях в VI в. до н.э. комиссией под руководством афинского тирана Писистрата был составлен первый официальный список гомеровских поэм.

главным образом к занятиям морскими промыслами и устраивать заведения для засола рыбы и другие подобные предприятия». А на засолке рыбы, как известно, богатства не сколотишь.

Подлинную славу Элее, как и соседнему Кротону, принесли не хозяйственные нововведения тиранов и не громкие походы полководцев, а звонкая, как бронза, мысль ее мудрецов. И как в соседнем Кротоне Пифагор и его ученики дали городу законы, возглавили успешные военные кампании, взрастили славную во всей Ойкумене плеяду врачей и атлетов-олимпийцев, так и Парменид с Зеноном, по словам Плутарха, благоустроили свою родину наилучшими законами, так что «власти ежегодно брали с граждан клятву оставаться верными законам Парменида». Заметим, что, начиная с одного из семи мудрецов Солона через знаменитые «Законы» Платона и далее вплоть до Боэция, принятие наилучших законов, оставленных тем или иным мудрецом родному полису, почиталось греками как событие чрезвычайной важности.

Итак, место рождения и законы, данные родной Элее, — вот и все жизнеописание Парменида. Ни даты рождения, ни даты смерти! По скудости сведений биография Парменида представляется уникальной. Но это только подчеркивает величие его идей, обессмертивших имя Парменида.

Таков был славный элеец Парменид, о котором Сократ вспоминал словами: «Парменид же мне кажется, по слову Гомера, внушающим благоговение и в то же время трепет: я познакомился с ним, когда был очень молод, а он очень стар, и мне показалось, что он обладает прямо-таки совершенно исключительной глубиной». А известный своею желчностью афинский скептик Тимон говорил о Пармениде так: «И не следующий мнению толпы, могучий, надменный Парменид, который поистине освободил мышление от обмана воображения». Каково же было оно, учение Парменида, прославившее в веках имя своего автора и «освободившее мышление от обмана воображения»?

Кони, несущи меня, куда только мысль достигает,
Мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий,
Что на крылах по Вселенной ведет познавшего мужа.
Этим путем я летел, по нему меня мудрые кони,
Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми были.
Ось, накалившись в ступицах, со скрежетом терлась о втулку...

Таким прологом, или проэпием, начинается философская поэма Парменида «О природе» — главное и единственное сохранившееся его сочинение, написанное архаическим гомеровским стихом, полным туманных недосказанностей и оставляющим широкий простор для самых различных толкований.

Сегодня поэма Парменида напоминает склеенную из кусков античную амфору, в которой подлинные расписные фрагменты перемежаются с безликой массой, заполняющей утраты. Время сохранило для нас лишь 155 строк (стихов) поэмы, но это немало — примерно половина целого. Какова же должна быть концентрация мысли в этих

155 строках, чтобы они по сей день вызывали потоки толкований, прочтений, статей и монографий, чтобы через два тысячелетия другой величайший философ Георг Гегель в своих «Лекциях по истории философии» мог сказать, что «с Парменидом началась философия в собственном смысле этого слова»!

Пролог поэмы аллегоричен, в нем в красочной художественно-мифологической форме повествуется о фантастическом путешествии юного Парменида к богине справедливости, правосудия и возмездия Дике, которая открывает философу высшее знание. Парменид едет на обычной двуколке — одноосной двухколесной повозке, запряженной парой коней. Однако кони у Парменида не простые, а «многоумные», да и путь философа необычен, так как лежит он «вне людской тропы».



Сопровождающие Парменида «девы Солнца» Гелиады, «ночи покинув чертог» и «откинув с голов покрывала», так торопят бег коней к свету, что ось колесницы раскалилась и свистит, подобно свирели. Там, наверху, в горнем эфире, путь Парменида упирается в «Ворота путей Дня и Ночи». Ворота закрыты.

Громовозмездная Правда ключи стережет к ним двойные.
 Стали Девы ее уговаривать ласковой речью
 И убедили толково засов, щеколдой замкнутый,
 Вмиг отпереть от ворот. И они тотчас распахнулись...

Вмиг окрестности озаряются волшебным светом, из которого выходит окруженная сонмом Эриний богиня справедливости Дике. Она приветствует юношу, берет его за правую руку, и затем до конца поэмы следует ее непрерывный монолог:

«Юноша, спутник бессмертных возниц! О ты, что на конях,
 Вскачь несущих тебя, достигнул нашего дома,
 Радуйся! Ибо тебя не злая Судьба проводила

Этой дорогой пойти — не хожено здесь человеком,—
Но Закон вместе с Правдой. Теперь все должен узнать ты:
Как убедительной Истины непогрешимое сердце,
Так и мнения смертных, в которых нет верности точной».

Итак, два пути открывает перед Парменидом богиня Дике: *Путь Истины и Путь Мнения*. Дике приказывает Пармениду побороть силу привычки, слепую привязанность к чужому мнению, воздержаться от болтовни и обратиться к разуму: «Разумом ты рассуди трудную эту задачу, данную мною тебе». Но — и в этом одно из открытий великого элейца, — указав философу путь к вечной, нетленной Истине, богиня Дике открывает ему также и путь к «лишенному подлинной достоверности мнению смертных» — Путь Мнения. Далее вся поэма строится именно по этому плану: в первой части — Путь Истины — излагается учение об истинном, умопостигаемом бытии, которому чуждо мнение смертных; во второй части — Путь Мнения, — напротив, открывается картина обманчивого мира явлений.

Но зачем философу, смысл жизни которого видится в отыскании столбовой дороги к бессмертной, неизблемой Истине, эти запутанные, теряющиеся на каждом шагу тропинки Пути Мнения? В чем суть учения Парменида?

Надо сказать, что учение Парменида вызывает естественный протест у каждого, кто впервые с ним сталкивается. Действительно, можно ли после самоочевидного, подтверждаемого на каждом шагу нашим каждодневным опытом Гераклитова «все течет, все изменяется» найти что-либо более странное и противоестественное, чем утверждение, что мир неизменен и неподвижен, что все в мире едино и неделимо, что все, что мы видим, воспринимаем и понимаем, есть не более чем иллюзия, заблуждение и обман? Этот протест столь же древен, как и само учение Парменида, так что уже Аристотель однажды назвал его «похожим на сумасшествие», а самих элеатов «неподвижниками и противоестественниками».

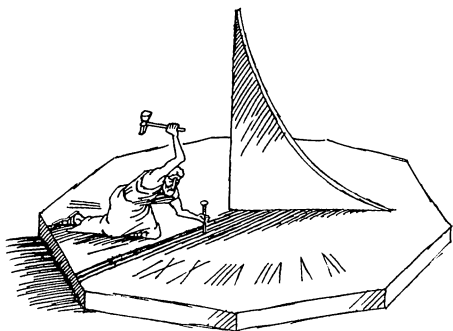
Между тем если тщательно взвесить мотивы и аргументы концепции Парменида, то она покажется не столь уж абсурдной. Более того, учение Парменида во многих отношениях является философским развитием учений его предшественников — Фалеса и Пифагора. Однако в отличие от своих предтеч, которые главным образом изрекали, а в лучшем случае опирались на аналогии и метафоры, Парменид дает первое в истории философии логическое доказательство своих тезисов. И хотя основные законы логики — закон тождества и закон противоречия — в явном виде у Парменида еще не сформулированы, он был первым, кто не только осознал, но и попытался последовательно применить эти законы в своих логических построениях.

В центре внимания Парменида лежит все та же основная философская проблема — проблема единой, неизменной первоосновы, скрытой под пеленой изменчивых сиюминутных явлений. Однако Парменид, по-видимому, осознал всю наивность философии Фалеса, видевшего в качестве основы мироздания воду, или Анаксимена,

рассматривавшего как первопринцип воздух, и даже Пифагора, объявившего, что «все есть число». В качестве всеобщего первопринципа, полагает Парменид, должна быть положена и некая всеобщая идея, и в качестве таковой он рассматривает *идею Бытия*.

Что такое бытие? Отличительным признаком бытия, по Пармениду, является то, что оно есть, т.е. существует, в отличие от того, чего нет, что не существует и может быть названо небытием. «*Есть бытие, а небытия вовсе нет*» — вот первый основной постулат Парменида, из которого он логическим путем выводит свои следствия. Важнейшее из них — знаменитое свойство *неизменности* Парменидова бытия.

В самом деле, рассуждает Парменид устами богини Дике: бытие — это то, что есть, а небытие — это то, чего нет. Но раз небытие — это то, чего нет, то не может быть ни возникновения, ни уничтожения, ибо всякое возникновение есть переход от небытия к бытию, а всякое уничтожение, напротив, — переход от бытия к небытию. Следовательно, бытие *неизменно*, оно не возникло и не подвержено гибели, оно не имеет ни начала, ни конца, оно всегда равно самому себе.



Аналогичным образом Парменид доказывает, что *бытие неподвижно*, ибо передвигаться оно могло бы только туда, где его нет, т.е. в небытие, но поскольку небытия нет, то, значит, и передвигаться бытию некуда. Те же рассуждения приводят Парменида к свойству единственности и непрерывности бытия.

Сегодня основной постулат Парменида о бытии может показаться не более чем плоской тавтологией. Однако во времена Парменида его тезис о бытии имел прежде всего острую полемическую направленность как против гераклитовцев, считавших, что бытие и небытие суть одно и то же и переходят одно в другое (вспомним Гераклитово «мир существует и не существует» или «путь вверх и путь вниз один и тот же»), так и против пифагорейцев, признававших существование и бытия, и небытия. Первых Парменид объявляет «пустоголовым племенем», а вторых — «двухголовыми». Сам Парменид не допускает ни тождества двух взаимоисключающих понятий, ни их одновременного существования в едином организме мироздания и тем самым вплотную подходит к закону запрещения противоречия — основному закону мышления. Таким образом, Парменида по праву можно считать предтечей основного закона логики — закона отрицания противоречия, сформулированного через 150 лет Аристотелем: «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле».

Прекрасно осознавая полемический характер своего учения, Парменид тщательно продумывает систему аргументов и дает выверенное логикой доказательство своей концепции. Мудрый элеец не только доказывает следствия из своего основного постулата, но пытается доказать само основное утверждение: бытие есть, небытия нет. Небытие не существует, рассуждает Парменид, потому что «небытие невозможно ни познать, ни в слове выразить». Итак, небытие не существует, потому что оно немыслимо. Немыслимо же небытие потому, что сама мысль о небытии делает небытие бытием в качестве предмета мысли.

Таким образом, доказывая свой первый основной постулат, Парменид с неизбежностью приходит к замене его вторым основным постулатом: «*Мышление и бытие суть одно и то же*». Через 200 лет после Парменида великий математик античности Евклид (III в. до н.э., более точные даты жизни неизвестны) показал, что всякая цепочка доказательств, дабы не стать бесконечной, должна быть остановлена на группе утверждений, которые составляют фундамент теории, принимаются без доказательства и которые Евклид назвал *аксиомами* или *постулатами*. А через 2000 лет основной постулат Парменида о единстве бытия и мышления почти дословно повторил другой великий философ, Рене Декарт (1596—1650), в своем знаменитом афоризме «*Cogito, ergo sum*» — «Мыслю, следовательно, существую».

В постулате Парменида о тождестве бытия и мышления прежде всего нашла отражение древняя античная традиция, не различавшая еще духовное и материальное начала, — это и бого-вода Фалеса, и вещечисло Пифагора, и огне-логос Гераклита. Но Парменид делает и шаг вперед по сравнению со своими предшественниками к разъединению мышления и бытия, различению субъективного и объективного начал в мировосприятии, с которого начинается собственно философия и которое последовательно осуществил через 100 лет великий Платон. Утверждая, что «мышление и бытие суть одно и то же», Парменид фактически провозглашает не тождество бытия и мышления и не первичность мысли перед бытием, как часто трактуют Парменида, считая его родоначальником субъективного идеализма. В своем основном постулате Парменид прежде всего говорит о возможности мысли только при наличии бытия, о неразрывной связи мышления с бытием, с подлинно сущим.

Помимо установления связи бытия и мышления Парменид вскрывает тесные отношения между мышлением и языком, тем самым впервые рассматривая логико-лингвистические аспекты процесса мышления. Если только слова употребляются человеком значимо, т.е. в них содержится определенный смысл, то слово всегда должно обозначать *нечто*, а не *ничто*. Следовательно, рассуждает философ, обозначаемое словом должно в известном смысле существовать. *Бытие-мысль-слово* — вот неразрывная триада, определяющая, по Пармениду, необходимое и достаточное условия существования человека разумного.

И снова, начиная с того что «небытие невозможно ни познать, ни в слове выразить», Парменид приходит к свойству неизменности бытия. Еще раз воспроизведем ход мысли великого элейца. Когда мы думаем, то мы всегда думаем о чем-либо, равно как и когда мы говорим, то говорим также о чем-либо. Значит, и мышление, и речь требуют объектов вне себя. Но поскольку мыслить и говорить об объекте можно всегда, значит, все, что может быть мыслимо или высказано, должно существовать всегда. Но значит, объекты мысли и слова не возникают и не уничтожаются, а значит, и бытие неизменно.

Как же сегодня, по прошествии двух с половиной тысячелетий, воспринимать философию Парменида, которая упрямо идет вразрез с очевидностью реального мира? Как бытие может оставаться неизменным, когда существуют день и ночь, дождь и снег, молодость и старость, война и мир? Прежде всего заметим, что Парменид, которого по праву называют отцом онтологии (от греч. *ὄντοζ* — сущее + *λογος* — слово) — философского учения о бытии, интересовался онтологическими, т.е. сущностными, а не физическими характеристиками бытия. Парменид ищет такие характеристики бытия, которые отражали бы всеобщую связь всех сторон сущего. Но что можно сказать о всеобщей связи, обо всем сущем в мироздании? Да только то, что и говорит Парменид: что эта связь едина и неизменна, что она неразрывна и вечна, что у нее нет границ, что она есть всюду и всегда.

Сегодня такую внутренне единую объективную реальность, позволяющую за изменчивым многообразием внешних проявлений увидеть неизменную устойчивость внутренних закономерностей, философы называют субстанцией (от лат. *substantia* — сущность). Фактически к этому важнейшему философскому понятию и подводит нас Парменид. Вот как об этом пишет Бертран Рассел: «Последующая философия, включая и философию самого новейшего времени, восприняла от Парменида не учение о невозможности всякого изменения, которое было слишком невероятным парадоксом, но учение о неразрушимости *субстанции*. Слово «субстанция» еще не употребляется его непосредственными преемниками, но соответствующее ему *понятие* уже присутствует в их рассуждениях. Под субстанцией стали понимать постоянный субъект различных предикатов. В этом своем значении она была и остается в течение более двух тысяч лет одним из главных понятий философии, психологии, физики и теологии». Итак, неподвижность и неизменность Парменидова бытия означает не отрицание физического движения, но неподвижность и неизменность субстанциальных свойств бытия.

Ну а как понимать единство слова и бытия в философии Парменида? Разве сирены — полуптицы-полуженщины, увлекающие своим пением доверчивых мореходов, или теорема Пифагора существуют в подлунном мире? И да, и нет. Нет, потому что их существование отлично от существования объектов природного мира — рек, лесов, животных и человека или объектов рукотворного мира «второй приро-

ды» — зданий, машин, книг и произведений искусства. Да, потому что, однажды созданные, эти продукты воображения художника или плоды мысли ученого, запечатленные в бессмертных памятниках скульптуры, архитектуры, живописи, литературы или в толстых фолиантах мудрецов, очень скоро образуют особую область существования, особый мир бытия, имя которому культура. Парменид же еще не различает предмет мысли и мысль о предмете. Небытие, очевидно, может быть предметом мысли и речи, не переставая от этого быть небытием. Но кто отважится сказать, что такое есть небытие?

Как видим, философия Парменида оставляет больше вопросов, нежели ответов. Впрочем, истинная глубина философа состоит не столько в том, чтобы отвечать на вечные вопросы, сколько в том, чтобы их ставить. «Философские теории, — пишет Бертран Рассел, — если они значительны, могут, вообще говоря, возрождаться в новой форме после того, как в своем первоначальном варианте они были отброшены. Опровержения редко бывают окончательными; в большинстве случаев они знаменуют собой только начало дальнейших усовершенствований».

Очевидно, Парменид и сам осознавал, что Путь Истины чистого разума уводит его слишком далеко от реалий земного мира. Не случайно богиня Дике в его поэме резко обрывает свой рассказ об истине:

Здесь достоверное слово и мысль мою завершаю
Я об Истине: мненья смертных отныне учти ты,
Лживому строю стихов моих нарядных внимая,

и переходит к «лживому строю стихов» — Пути Мнения. Богиня обещает философу, что, встав на Путь Мнения,

Ты познаешь природу эфира и все, что в эфире,
Знаки, и чистой лампы дела лучезарного Солнца
Незримотворные, также откуда они родились.
И круглоокой Луны колобродные также узнаешь
Ты и дела, и природу, и Небо, что все обнимает,
Как и откуда оно родилось, как его приковала
Звезд границы стеречь Ананке¹...

а также «как начали возникать Земля, Солнце, Луна, вездесущий эфир, Млечный Путь, крайний Олимп и горячая сила звезд». Скорее всего,

¹Ананке (Ἀνάγκη — Необходимость) — в греческой мифологии богиня необходимости, неизбежности. Платон считал Ананке матерью мойр — вершительниц человеческих судеб. Первоначально полагали, что у каждого человека своя мойра, впоследствии их число было сведено к трем: Атропа, Клото и Лахесис. Мойр представляли в виде старух, в чьих руках находилась нить человеческой жизни: Клото прядет нить, Лахесис проносит ее через все превратности судьбы, Атропа перерезает нить и обрывает жизнь человека. В отличие от мойр, ведающих персональными судьбами, Ананке вершит глобальные мировые процессы, вращая между колен веретено, ось которого определяет ось мироздания. Ананке олицетворяет высшую силу — Необходимость, которой подчинены даже боги.

богиня сдержала свое обещание — на то она и богиня. Однако из сохранившихся фрагментов поэмы мы этого уже никогда не узнаем.

Но и уцелевших фрагментов из Пути Мнения достаточно для того, чтобы задаться главным вопросом — вопросом, который задавали себе уже древние. Для чего вообще понадобилась Пармениду вторая часть поэмы, которая чуть ли не отрицает первую часть? Почему, объявив в первой части поэмы Путь Истины — путь чистого разума — единственно верной дорогой к постижению законов вечного бытия, во второй части Парменид приглядывается к зыбкому, изменчивому миру явлений — Пути Мнения? Уж не два ли разных человека написали эти две части поэмы?

Текстологический анализ поэмы сегодня категорически отмечает последний вопрос: обе части поэмы написаны Парменидом. Значит, Путь Мнения в поэме не случаен, и мы, таким образом, подходим к ответу на первые два вопроса, которые, напомним, были поставлены еще в начале нашего очерка о Пармениде.

Очевидно, Парменид сам осознал, что один только Путь Истины не способен раскрыть всего многообразия окружающего мира. Парменид должен был показать, что, встав на Путь Истины, «знающий» человек осведомлен и о Пути Мнения, о чувственно воспринимаемом мире, что он может приобщиться к этому пути, иметь свои взгляды и соображения об изменчивом чувственном мире. Но это будет не более чем *мнение* об этом мире.

Да, Парменид объявляет сомнительным и обманчивым знание, полученное не абстрактными рассуждениями, а с помощью органов чувств. Да, Парменид считает, что это знание ведет не к Истине, но порождает лишь «доксу» (греч. *δόξα* — мнение), что это несовершенное, приблизительное знание второго сорта.

Но, как честный мыслитель, как рыцарь Истины, Парменид не может напрочь отвергнуть «путь доксы», живое многообразие мира. Пытаясь хоть как-то примирить два пути познания мира, Парменид покидает мир чистой логики и пытается отвести «пути доксы» хоть какое-то место в бытии. Он полагает, что изменчивый Путь Мнения — этот колеблющийся, распадающийся на части и вновь собирающийся в единое целое мираж — возникает лишь на поверхности неизменной, неделимой вечной первосущности бытия.

Строки из поэмы Парменида «Разумом ты разреши трудную эту задачу, данную мною тебе» знаменуют великий момент в истории философии. В них отказ от наивного доверия к чувственному опыту, в них начало великих открытий разума, остановившего Солнце, совершающее свой кажущийся ежедневный бег по небосводу, и двинувшего вокруг него Землю. Но в то же время есть в поэме и строки, посвященные «пути доксы». В нем философ видит ту почву, на которой произрастают открытия чистого разума, в нем он усматривает и неиссякаемый источник, питающий чистый разум.

Таким образом, главной задачей Парменида было разделить и сравнить два возможных пути постижения мира — пути разума и пути

опыта. С этой задачей Парменид блестяще справился, и в этом состоит одно из важнейших открытий философа. «Установление качественного различия между разумом и чувственностью, мышлением и ощущением, между логическим и эмпирическим, — пишет современный философ Ф. Кессиди, — явилось величайшим философским открытием. И честь этого великого открытия принадлежит Пармениду из Элей. Это было открытием разума в истории европейской и мировой философии, в истории теоретического мышления вообще. Открытие разума означало падение мифологии, отход от нее и утверждение нового мировоззрения».

Эту характеристику значения Парменида в истории мировой философской мысли прекрасно дополняют слова о великом элейце А. Ф. Лосева, который так писал о поэме Парменида: «Это — первые восторги перед успехами абстрагирующего мышления: и вполне естественно, что эти восторги требуют не спокойной прозы уравновешенного философа, а поэтического энтузиазма, который легко принять за мистику. На самом деле мистики здесь не больше, чем в других системах древнейшей греческой натурфилософии. Здесь происходит разделение мышления и ощущения, что ведет, как и прочих греческих натурфилософов, к падению мифологии, к отходу от нее как от единственно возможного мировоззрения».

Конечно, сегодня, по прошествии двух с половиной тысячелетий, это открытие Парменида может показаться не более чем банальной истиной. Но вспомним еще раз слова Рассела о непреходящем значении великих философских идей.

Уместно по этому поводу напомнить и точеный афоризм Аристотеля: «Известное известно лишь немногим». Намеченные Парменидом путь разума и путь чувства вылились за это время в два мощных философских потока — рационализм и сенсуализм (от лат. *ratio* — разум и *sensus* — чувство), связанных между собой тысячью рукавов, протоков, каналовцев, истинная гидрография которых не изучена и сегодня.

Но Парменид на своих 155 строках поэмы предстает перед нами не только как великий философ, но и как вдумчивый естествоиспытатель. Множество проблем многообразного мироздания волнуют элейского мудреца: это и вопрос о происхождении живых существ, и загадки небесных и атмосферных явлений, и тайна рождения мальчика или девочки, и проблема материальных первоначал мира. Большинство из предложенных Парменидом решений, да и многие из поставленных им проблем кажутся сегодня наивными, но одна из них — проблема пространства и времени — и по сей день будоражит умы естествоиспытателей.

Что есть пространство и что есть время? Парменид мудро уходит от прямого ответа на эти вечные вопросы. Взглядом Сивиллы он видит, что и через 1000 лет, на рубеже античной и средневековой культур, другой мудрец, Аврелий Августин (354—430), скажет, что философия начинается с попыток ответить на очевидные вопросы, каким являет-

ся вопрос о том, что есть время¹. Он будто знает, что и сегодня, на рубеже третьего тысячелетия, на тот же вопрос будет пытаться ответить наш соотечественник лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин. Тем не менее из учения Парменида следует, что нет самих по себе пространства и времени в отрыве от бытия. По существу, Парменид не отделяет пространство и время от материи, а это есть сверхсовременный взгляд на пространство и время.

Не прошло и ста лет, как Демокрит отверг Парменидово единство пространства-времени и бытия и стал рассматривать пространство и время как пустые вместилища, в которых происходит движение. Демокритовы представления об абсолютных пространстве и времени легли в основу механики Ньютона и просуществовали вплоть до начала XX в. Только великий Эйнштейн позволил себе порвать с двухтысячелетней традицией, связав течение времени и протяженность тел с их скоростью и доказав тем самым относительный характер пространства и времени, а также невозможность их существования в отрыве от материи и вне связи друг с другом. Нам еще не раз предстоит убедиться в том, как спираль науки, сделав гигантский виток во времени, возвращается к старой философской концепции, подтверждая ее самыми современными данными естествознания.

На этом можно было бы закончить наш краткий обзор учения Парменида, но следует сказать еще несколько слов о влиянии идей элейского мудреца на последующее развитие античной философской мысли. Мы уже отмечали, что Парменид предвосхитил идею субстанции — неизменной основы сменяющихся вещей. Единое бытие Парменида есть принцип единства всего во всем. Как сущее, оно материально, а как мыслимое — идеально. Таким образом, Парменидово единое есть материально-идеальное бытие, поэтому идеи Парменида оказались плодотворными и для материалиста Демокрита, и для идеалиста Платона. Атомы Демокрита — это материальное единое Парменида, каждый в отдельности они сохраняют все свойства Парменидова бытия — они вечны, неизменны, самотождественны. Эйдосы Платона — это идеальное единое Парменида, хранящее в себе все те же свойства единого и вечного Парменида. Итак, два важнейших направления в философии, знаменитые «две линии в философии» — «линия Демок-

¹ Дабы донести до читателя аромат Августинова слова, приведем отрывок из «Исповеди», где Блаженный Августин рассуждает о времени: «Что такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое, и, когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» (А в г у с т и н. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. XI, XIV, 17.).

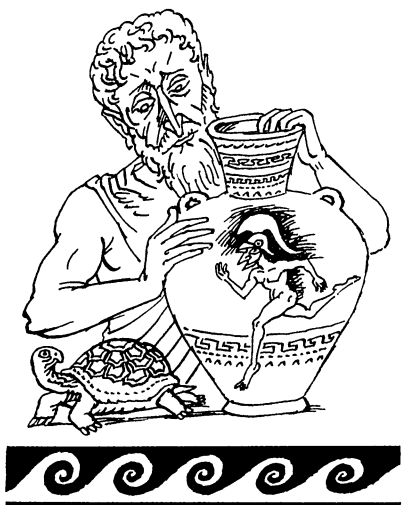
рита» (материализм) и «линия Платона» (идеализм) — исходят из одной точки, коей является учение элейского мудреца. Нам представляется, что этим двум линиям в философии вовсе не суждено вечно сохранять прямолинейность и в будущем они вновь сойдутся в одной точке.

Ну, а как же быть с Гераклитом и Парменидом, которых Путь Истины привел к двум прямо противоположным выводам: для первого все течет, а для второго — все неизменно? Возможны лишь два выхода из этого затруднения: либо считать путь разума неверным, либо искать примирения точек зрения Парменида и Гераклита. Большинство философов склонны предпочитать второй выход. Только объединение двух исключających друг друга представлений, только включение в путь разума противоречивых начал позволит понять противоречивую объективную реальность. По существу, философское примирение Гераклита и Парменида состоялось еще при их жизни в признании ими мира как единства противоположностей: для Гераклита — это локальное противостояние всех элементов бытия, для Парменида — глобальное противостояние Пути Истины и Пути Мнения. По существу, сходятся Гераклит и Парменид и в признании неизменной субстанции, без существования которой невозможно никакое научно-рациональное знание: для Гераклита — это мировой огонь, который «мерами вспыхивает и потухает», для Парменида — единое бытие.

Сегодня нам трудно судить, как в действительности соотносили свои учения современники, а возможно, и сверстники Гераклит и Парменид. Впрочем, исходя из того, что под «пустоголовым племенем» Парменид прежде всего имел в виду Гераклита, их отношения вряд ли были идиллическими. Легко догадаться, что и противоположная сторона не скупилась на выражения, тем более что парадоксальное учение Парменида словно выставляло напоказ свои «очевидные» нелепости и противоречия. Именно злые нападки на учение Парменида побудили другого элейца, Зенона, написать полемическое сочинение, в котором любимый ученик Парменида с помощью хитроумных логических ловушек доказывал, что неприятие единого неподвижного бытия Парменида, т.е. допущение множественности вещей и возможности движения, приводит к еще большим нелепостям и противоречиям.

ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ

(ок. 490 до н.э. — ?)



*То, что движется, не движется ни в том месте,
где оно есть, ни в том, где его нет.*

Злые нападки на учение Парменида побудили другого элейца, Зенона, написать полемическое сочинение, в котором любимый ученик Парменида с помощью хитроумных логических ловушек доказывал, что неприятие единого неподвижного бытия Парменида, т.е. допущение множественности вещей и возможности движения, приводит к еще большим нелепостям и противоречиям. Найденные Зеноном доказательства неделимости и неподвижности бытия, которые сами древние стали называть «эпихейремами» (ἐπιχειρήματα — сжатое умозаключение) или «апориями» (ἀπορία — непроходимость, затруднение), настолько глубоко схватывали фундаментальные философские аспекты непрерывности и движения, т.е. по существу пространства и времени — первооснов бытия, что и по сей день остаются предметом оживленных философских дискуссий. Эпихейремы Зенона — предельно сжатые сияющие кристаллы философской мысли Эллады, их блеск не меркнет третье тысячелетие.

О Зеноне мы знаем почти так же мало, как и о его учителе Пармениде, хотя одна строка биографии философа — героическая смерть Зенона — восполняет эти утраты, заставляя замереть перед духовной мощью мудреца. Родиной Зенона, как и Парменида, была провинци-

альная Элея — «город скромный и умеющий лишь воспитывать доблестных мужей» (Диоген Лаэртский). Относительно времени рождения Зенона имеются некоторые расхождения, но все они укладываются в пределах 10—15 лет, так что наиболее употребительной считается восходящая к Платону дата — около 490 г. до н.э.

По-видимому, Зенон очень многим был обязан Пармениду и их отношения были настолько тесными, что античная традиция называла Зенона не только учеником Парменида, но и его приемным сыном и даже любовником. Впрочем, последнее с возмущением отменялось многими древними, так что некто Афиней писал: «Но что всего отвратительнее и всего лживее — так это безо всякой нужды сказать, что согражданин Парменида Зенон был его любовником!»

Но в чем античная традиция единодушна, так это в том, что «был он человеком исключительных достоинств и в философии, и в политической жизни, сохранились его книги, полные большого ума». Диоген Лаэртский отмечает также, что «помимо прочих доблестей Зенон отличался презрением к сильным мира сего: подобно Гераклиту, который предпочел Эфес Афинам, он также предпочел великолепию Афин свой родной город, прежде называвшийся Хюэле, а впоследствии Элеей... За некоторыми исключениями, он не посещал Афин и прожил всю жизнь на месте». Зенон был не просто верным учеником Парменида, но и сам был окружен толпою преданных слушателей. Из разных концов Эллады, в том числе и из столичных Афин, стекались к славному элейцу юные любители мудрости.

Зенон был первым из философов, кто стал брать деньги за обучение, и в этом его можно считать предшественником софистов, для которых странствия в поисках богатых учеников и их обучение стали единственным способом добывания хлеба насущного. Однако софисты — и этим часто заканчиваются многие хорошие начинания — довели искусство спора до логического абсурда. Истина перестала интересовать софистов, и ради достижения победы в споре они не гнушались никакими средствами, в том числе и явными нарушениями законов логики, которые они старались спрятать за блесками словесной мишуры.

В те времена деньги за обучение мудрости платили немалые, правда, и учителя тогда были неслабые — великие философы, память о которых не стерли тысячелетия. По свидетельствам, Зенон за обучение брал 100 мин, а это 43,6 кг серебра — по современным меркам целое состояние. В числе учеников Зенона Плутарх называет даже знаменитого афинского стратега Перикла.

Чему же учил Зенон? За что платили ему такие огромные деньги? Учил Зенон искусству спора — диалектике (греч. *τεχνη διαλεκτική* — искусство вести беседу, спор)¹, изобретателем которой его назвал Аристотель. Согласно Плутарху, диалектика есть «искусство опровергать

¹«Технэ» (*τεχνη*), откуда идет современная «техника», в античную эпоху означало и науку, и искусство, и ремесло.

противника и через противоречие загонять его в безвыходное положение (в “апорию” — А. В.). Конечно, диалектика Зенона не была еще объективной диалектикой в высоком, платоновском смысле этого слова, понимаемой как расчленение и связывание воедино понятий, как путь к обретению философской истины и постижению тайн мироздания. То была еще субъективная диалектика — искусство доказывать и оспаривать собственное мнение посредством логических умопостроений. В условиях греческой демократии, когда в небольшом полисе-государстве каждый его житель вел активную общественную жизнь и имел реальные шансы занять любой государственный пост, умение убеждать и спорить было столь же важным для истинного мужа, как и умение владеть собственным телом и мечом.

Но главная добродетель, к которой подводит нас жизнь и смерть элейского мудреца, состоит в том, что образ мысли истинного философа неотделим от образа его жизни. В этом — разгадка того удивительного феномена, что каждый истинный мудрец являет нам не только образец искрометной мудрости, но и высокой нравственности, душевной красоты, гражданского долга, мужества и даже героизма. Знаменитая античная триада истины, красоты и добра в ее неразрывном единстве отмечает жизненный путь каждого подлинного мыслителя, ибо невозможно быть глубоким мудрецом перед учениками и жалким перевертышем перед самим собой. Смерть Зенона, мужественная и красивая, явилась достойным венцом его жизни, гордой и свободной.

«Легче окунуть в воду мех, наполненный воздухом, — говорил Зенон, — чем заставить силой какого-либо хорошего человека совершить что-нибудь вопреки его воле». Судьба неоднократно предоставляла элейцу возможность доказать свое слово делом. Однажды, рассказывает писатель и богослов Тертуллиан (ок. 160 — после 220), на вопрос тирана Дионисия, *что дает философия*, Зенон ответил: «Презрение к смерти!» Разъяренный столь гордым ответом, тиран приказал подвергнуть философа бичеванию плетьюми. Однако Зенон остался равнодушным к страданиям, не предоставив тирану возможности упрекнуть его в истинности собственных слов. Следующее испытание судьбы оказалось для философа роковым. Вот как рассказывает об этом событии античный историк Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н.э.).

«Когда его родной город был под властью жестокой тирании Непарха, он организовал заговор против тирана. Уличенный и допрашиваемый тираном под пыткой, кто были соучастники, он воскликнул: «О, если бы я владел своим телом так же, как я владею языком!» Когда тиран стал еще больше ужесточать пытки, Зенон до поры до времени терпел, а потом — спеша избавиться от пытки и заодно отомстить Непарху — придумал вот что. Во время сильнейшего ужесточения пытки он притворился, что дух его поддался мукам, и закричал: «Пустите! Скажу всю правду!» Когда

его высвободили, он попросил тирана подойти и выслушать его приватно: потому как, мол, многое из того, что собирается сказать, лучше сохранить в тайне. Тиран обрадовался, подошел и поднес ухо к устам Зенона, а тот впился в царское ухо зубами. Подручные быстро подбежали и усилили пытку нещадно, чтобы заставить Зенона разжать зубы, но тот впивался еще сильнее. Наконец, не в силах сломить мужество Зенона, закололи его, чтобы он разжал зубы. Благодаря этой уловке он избавился от мучений и, как мог, отомстил тирану».

Диоген Лаэртский рассказывает несколько иную версию трагической смерти Зенона. После раскрытия заговора тиран Нearch (по другим источникам — Диомедонт) подверг публичным пыткам элейского мудреца. Тирана прежде всего интересовали сообщники главного заговорщика, и Зенон охотно донес на всех друзей и прихлебателей тирана, с тем чтобы оставить его в одиночестве. Тиран спросил его, после того как он донес на его друзей, есть ли еще кто-нибудь, на что он ответил: «Есть ты, проклятье города!» — а обращаясь к присутствующим, сказал: «Удивляюсь я вашей трусости: вы рабски служите тирану ради того, чтобы вас постигла та же участь, что и меня!»; под конец он отъел себе язык и плюнул им в тирана. Это так подействовало на присутствующих граждан, что они тотчас же побили тирана камнями». Разъяренные испуганной дерзостью Зенона, приспешники тирана бросили философа в ступу и истолкли его в ней.

Так закончился земной путь Зенона — философа и героя, героя и философа, ибо эти понятия, как Парменидово бытие, неразделимы, ибо смелая и вызывающе дерзкая смерть Зенона неотделима от дерзких и вызывающе смелых философских идей элейского мудреца. Так началась вечная жизнь Зеноновой мудрости — жизнь, которая скоро достигнет своего 2500-летнего юбилея и которой не суждено оборваться, покуда жив на земле человек.

Философия Зенона сохраняет молодость и искрометность, она манит каждого, кто встал на Путь Истины, каждый путник старается одарить ее своим вниманием, но никому еще не удалось ее покорить. А ведь философия Зенона — это всего-навсего девять кратких, порой в несколько строк, апорий! Всего не более пятидесяти строк! Это все, что сохранилось от многочисленных трудов Зенона, среди которых традиция называет «Споры», «Против философов», «О природе» и др. Если ввести некий «коэффициент концентрации автора в истории культуры», равный отношению возраста произведений автора к их объему, то у Зенона и Парменида этот коэффициент будет наибольшим во всей истории мировой культуры.

Как уже отмечалось, сверхзадачей Зенона было защитить два тезиса философии Парменида: *бытие едино* и *бытие неподвижно*. Свои доказательства этих тезисов Зенон строит методом от противного, т.е. для доказательства истинности единства и неподвижности бытия Зенон доказывает ложность множественности и подвижности бытия.

Последнее утверждение также доказывается методом от противного, приведением его отрицания к двум взаимоисключающим суждениям. Во времена Зенона, когда закон исключенного третьего еще не был сформулирован, такой метод рассуждения вызывал затруднения даже у Сократа, свидетельством чему следующий отрывок из платоновского диалога «Парменид».

«— Я замечаю, Парменид, — сказал Сократ, — что наш Зенон хочет быть близок тебе во всем, даже в сочинениях. В самом деле, он написал примерно то же, что и ты, но с помощью переделок старается ввести нас в заблуждение, будто он говорит что-то другое: ты в своей поэме утверждаешь, что все есть единое, и представляешь прекрасное доказательство этого; он же отрицает существование многого и тоже приводит многочисленные и веские доказательства. Но то, что вы говорите, оказывается выше разумения нас остальных: действительно, один из вас утверждает существование единого, другой отрицает существование многого, но каждый рассуждает так, что кажется, будто он сказал совсем не то, что другой, между тем как оба вы говорите почти одно и то же.

— Да, Сократ, — сказал Зенон, — но только ты не вполне постиг истинный смысл сочинения. Хотя ты, подобно лаконским щенкам, отлично выискиваешь и выслеживаешь то, что содержится в сказанном, но прежде всего от тебя ускользает, что мое сочинение вовсе не притязает на то, о чем ты говоришь, и также вовсе не пытается скрыть от людей сей великий замысел. Ты говоришь об обстоятельстве побочном. В действительности это сочинение поддерживает рассуждение Парменида против тех, кто пытается высмеять его, утверждая, что если существует единое, то из этого утверждения следует множество смешных и противоречащих ему выводов. Итак, мое сочинение направлено против допускающих многое, возвращает им с избытком их нападки и старается показать, что, при обстоятельном рассмотрении, их положение «существует многое» влечет за собой еще более смешные последствия, чем признание существования единого».

Введем обозначения для высказываний: A — бытие, B — едино (неподвижно), C — заключительное высказывание в той или иной апории. Метод Зенона состоит в том, что вместо утверждения $A \Leftrightarrow B$ — «бытие едино (неподвижно)» доказывается равносильное ему утверждение $\neg (A \Leftrightarrow \neg B)$ — «не верно, что бытие множественно (подвижно)», доказательство которого в свою очередь сводится к доказательству равносильного утверждения $(A \Leftrightarrow \neg B) \Rightarrow (C \wedge \neg C)$ — «если бытие множественно (подвижно), то выполняются два взаимоисключающих утверждения C и $\neg C$ ». Тогда в символах математической логики метод Зенона будет иметь вид:

$$A \Leftrightarrow B \equiv \neg (A \Leftrightarrow \neg B) \equiv ((A \Leftrightarrow B) \Rightarrow (C \wedge C))$$

Напомним значения символов: \equiv — равносильность, \neg — отри-

цание, \wedge — конъюнкция (логический союз «и»), \Rightarrow — импликация, \Leftrightarrow — эквивалентность¹.

Итак, с точки зрения логики апории Зенона безупречны, поэтому все попытки найти в них скрытый логический дефект, подобный спрятанной в рассуждениях софистов логической ошибке, заканчивались неудачей. Но апории Зенона содержат трудности более высокого порядка — это философские затруднения, сопряженные с трудностями умопостижения окружающего его бытия. Нам же не остается ничего иного, как сделать шаг навстречу этим трудностям.

Апории Зенона принято разделять на две группы. Первая группа посвящена доказательству единости бытия, вторая — его неподвижности. Вторая группа — апории *движения*, сохранившиеся в «Физике» Аристотеля, наиболее популярные, поскольку касаются важнейшего и «очевиднейшего» мировоззренческого понятия — понятия *движения*. Недаром некто Антисфен, возражая против апорий Зенона о невозможности движения, просто встал и начал ходить. Найденный Антисфеном остроумный выход из «непроходимостей» Зенона стал популярнейшим историческим анекдотом, который не обошел вниманием и А. С. Пушкин:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить,
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

¹Для тех, кто знаком с элементами математической логики, приведем доказательство равносильности утверждений в методе Зенона. Цифры над знаками равносильности обозначают ссылку на тот или иной логический закон, используемый при доказательстве и приведенный после доказательства:

$$\begin{aligned}
 & (A \Leftrightarrow B) \Rightarrow (C \wedge \neg C) \stackrel{1}{\equiv} \neg (A \Leftrightarrow \neg B) \vee (C \wedge \neg C) \stackrel{2}{\equiv} \neg (A \Leftrightarrow \neg B) \vee 0 \stackrel{3}{\equiv} \\
 & \equiv (A \Leftrightarrow \neg B) \stackrel{4}{\equiv} \neg ((A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg B \Rightarrow A)) \stackrel{1}{\equiv} \neg ((\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg \neg B \vee A)) \stackrel{5}{\equiv} \\
 & \equiv ((\neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee A)) \stackrel{6}{\equiv} \neg (\neg A \vee \neg B) \vee \neg (B \vee A) \stackrel{7}{\equiv} (\neg \neg A \wedge \neg \neg B) \vee (\neg B \wedge \neg A) \stackrel{5}{\equiv} \\
 & \equiv (A \wedge B) \vee (\neg B \wedge \neg A) \stackrel{8}{\equiv} ((A \wedge B) \vee \neg B) \wedge ((A \wedge B) \vee A) \stackrel{8}{\equiv} \\
 & \equiv ((A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg B)) \wedge ((A \vee \neg A) \wedge (B \vee \neg A)) \stackrel{9}{\equiv} ((A \vee \neg B) \wedge 1) \wedge (1 \wedge (B \vee \neg A)) \stackrel{10}{\equiv} \\
 & \equiv (A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A) \stackrel{11}{\equiv} (\neg \neg B \vee A) \wedge (\neg A \vee B) \stackrel{1}{\equiv} (B \Rightarrow A) \wedge (A \Rightarrow B) \stackrel{4}{\equiv} A \Leftrightarrow B
 \end{aligned}$$

1) $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$, 2) $P \wedge \neg P \equiv 0$, 3) $P \vee 0 \equiv P$, 4) $P \Rightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$.

5) $\neg \neg P \equiv P$, 6) $\neg (P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$, 7) $\neg (P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

8) $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$, 9) $P \vee \neg P \equiv 1$, 10) $P \wedge 1 \equiv P$, 11) $P \vee Q \equiv Q \vee P$

Символ 1 соответствует истинному высказыванию, символ 0 — ложному.

Как видим, коллизия Зенона и Антисфена потому и пережила тысячелетия, что в ней нашло отражение противостояние двух путей познания мироздания — логического и чувственного, Пути Истины и Пути Мнения. Зенон, как здравый человек, не помышлял отрицать физическое движение, он только указывал на трудности его умопостижения. В целом же обе группы апорий Зенона затрагивают сложнейшее математико-философское понятие бесконечности и непрерывности.

Первая апория против множественности гласит:

«Если есть много сущих, их по необходимости должно быть столько, сколько их есть, и не больше их самих, и не меньше. Если же их столько, сколько есть, то они конечны.

Если есть много сущих, то сущие бесконечны по числу, так как между сущими всегда есть другие сущие, а между этих последних — опять другие. Следовательно, сущие бесконечны».

Легко видеть, что эта апория, как, впрочем, и все остальные, полностью отвечает логической цепочке метода Зенона. Предполагая, что сущее множественно, Зенон приходит к двум противоречивым выводам: сущее конечно и сущее бесконечно. Следовательно, не верно, что сущее множественно, значит, сущее едино. В этой апории опять-таки, как и во всех остальных, высвечивается главное противоречие, замеченное Зеноном: внешнее проявление сущего — то, что мы видим согласно чувственному Пути Мнения — *конечно*, тогда как внутренняя структура сущего — то, что мы постигаем разумом на Пути Истины — *бесконечна*.

Во второй апории против множественности говорится:

«Если сущее множественно, то оно должно быть и малым и большим: настолько малым, чтобы вовсе не иметь величины, и настолько большим, чтобы быть бесконечным». Тезис этой апории доказывается тем рассуждением, что если сущее множественно, т.е. представляет собой совокупность бесконечного числа неделимых элементов, равных нулю, то и бесконечная сумма нулей есть нуль, т.е. сущее не имеет величины. В антитезисе, напротив, утверждается: если неделимые элементы, составляющие сущее, конечны, то бесконечная сумма конечных элементов бесконечна, т.е. сущее бесконечно.

Исторически критика Зенона была направлена против пифагорейцев, которые считали, что всякая конечная величина состоит из бесконечного числа лишенных величины неделимых точек — монад. По существу же, Зенон в своих апориях поставил одну из «вечных» математико-философских проблем: как непрерывное и протяженное складывается из дискретных и непротяженных элементов? как из нульмерных точек можно сложить имеющие измерение величины? как возможно существование «одинакового», согласно Пути Истины, количества точек на разных по длине, т.е. согласно Пути Мнения, отрезках? Мы еще вернемся к этим вопросам при рассмотрении апорий движения, пока же заметим, что в своих апориях Зенон подготовил парадоксаль-

ное представление о математической точке, которая, с одной стороны, есть ничто, так как не имеет величины, а с другой стороны, есть нечто, так как определяется своим положением в пространстве. Но если точка есть ничто, то как в ней можно определить движение или покой? Так мы подходим ко второй группе апорий Зенона — апориям движения, апориям настолько популярным и знаменитым, что каждая из них имеет свое имя. Рассмотрим некоторые эпихейремы движения.

Дихотомия. В «Физике» Аристотеля мы читаем: «Есть четыре аргумента Зенона о движении, которые доставляют трудности тем, кто пытается их решить. Первый — о невозможности движения, так как перемещающееся тело прежде должно дойти до половины, нежели до конца». Апория «Дихотомия» (греч. διχοτομία — деление надвое) утверждает, что движение невозможно, так как прежде чем дойти до конца какого-либо отрезка $AB = S$, необходимо пройти его половину, прежде чем дойти до конца половины, нужно пройти половину половины, т.е. четверть пути AB , и так далее до бесконечности. Следовательно, движение вообще не может начаться.

Здесь же, в «Физике», Аристотель пытается преодолеть эту «непродолимость». Согласно Аристотелю, ошибка Зенона состоит в том, что он смешивает два различных понимания бесконечного — бесконечное «в отношении деления» и бесконечное «в отношении границ». Если бесконечное «в отношении границ», считает Аристотель, нельзя преодолеть в ограниченное время, то бесконечное «в отношении деления» — можно, ибо само ограниченное время в отношении деления бесконечно.

Легко видеть, что в этом рассуждении Аристотель просто переложил процесс бесконечного деления с пространства на время и тем самым передвинул проблему, но не решил ее. Аристотель, сам осознавая уязвимость своего решения, отмечал: «Но такое разрешение достаточно для ответа тому, кто так поставил вопрос... а для сути дела и для истины недостаточно... В непрерывном заключается бесконечное число половин, но только не актуально, а потенциально». Иначе, Аристотель признает, что дихотомия возможна лишь как мысленный процесс, потенциально, а не фактически, актуально. Но ведь Зенона как раз и интересовал мыслительный процесс: как мыслить движение, а не как его ощущать. И если движение мыслить по принципу дихотомии, то процесс мышления оказывался незавершенным, а само движение не могло бы начаться. Таким образом, возражение Аристотеля, хотя и разграничивало впервые такие важнейшие математико-философские понятия, как актуальная и потенциальная, т.е. завершенная и незавершенная, бесконечность, существа апории Зенона не затрагивало.

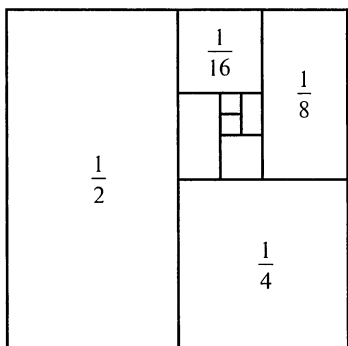
Сегодня всякий школьник, знакомый с понятием бесконечно убывающей геометрической прогрессии, без труда «решит» апорию Зенона. В самом деле, принимая длину отрезка за S , а скорость движения за V , легко находим общее время движения $t = \frac{S}{V}$, а также время, не-

обходимое на преодоление половины пути $t_1 = \frac{S}{2V}$, четверти пути

$$t_2 = \frac{S}{4V} \dots \text{откуда } t = t_1 + t_2 + t_3 + \dots = \frac{S}{V} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \right) = \frac{S}{V} \frac{1/2}{1 - 1/2} = \frac{S}{V},$$

т.е. время в пути, согласно чувственному опыту (Пути Мнения) и по схеме Зенона (Пути Истины) одинаково.

Но не следует спешить с выводами по поводу наивности и «малограмотности» древних. Во-первых, просуммировать ряд $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ скорее всего умел и Зенон, причем без всяких геометрических прогрессий, а просто глядя на картинку, на которой квадрат со стороной 1, т.е. площади $S = 1$, разбивался по принципу дихотомии, т.е. на фигуры площади $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$, откуда и следовало, что $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$.



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1.$$

Геометрическое суммирование бесконечного ряда посредством дихотомии квадрата площади 1

Смысл же апории для Зенона заключался в том, как физически представить этот математический процесс. Означает ли дихотомия, что пространство и время бесконечно делимы? Но ведь в этом случае процесс деления становится незавершенным и движение в самом деле никогда не начнется? Существует ли завершенная, актуальная бесконечность? Последний вопрос до сего времени служит предметом ожесточенных споров математиков, логиков и философов.

Ахиллес и черепаха — вторая апория движения, которая по существу ничем не отличается от «Дихотомии» и говорит о том, что «самое медленное во время бега не будет достигнуто самым быстрым, ибо то, которое преследует, сначала должно пройти туда, откуда отправилось преследуемое, так что более медленное всегда должно быть несколько впереди».

Обозначая расстояние между Ахиллесом и черепахой через S , скорость Ахиллеса — V , а скорость черепахи — W ($V > W$), легко находим время, за которое Ахиллес догонит черепаху $t = \frac{S}{V - W}$.

Согласно схеме движения Зенона время встречи Ахиллеса и черепахи ищется следующим образом. Расстояние S Ахиллес пройдет за время $t_1 = \frac{S}{V}$. За это время черепаха пройдет путь $S_1 = W t_1 = S \frac{W}{V}$.

Расстояние S_1 Ахиллес пробежит за время $t_2 = \frac{S_1}{V} = \frac{S}{V} \cdot \frac{W}{V}$, а черепаха

за это время преодолевает расстояние $S_2 = W t_2 = S \left(\frac{W}{V} \right)^2$. Ахиллес рас-

стояние S_2 пройдет за время $t_3 = \frac{S_2}{V} = \frac{S}{V} \left(\frac{W}{V} \right)^2$ и т.д. Таким образом, Ахиллес догонит черепаху за время $t = t_1 + t_2 + t_3 + \dots =$

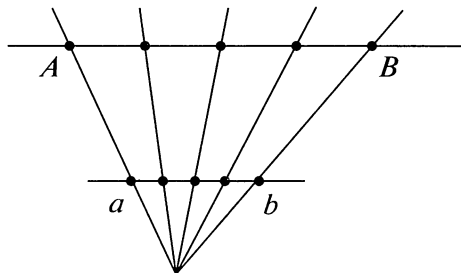
$$= \frac{S}{V} + \frac{S}{V} \frac{W}{V} + \frac{S}{V} \left(\frac{W}{V} \right)^2 + \dots = \frac{S}{V} \left[1 + \frac{W}{V} + \left(\frac{W}{V} \right)^2 + \dots \right] = \frac{S}{V} \frac{1}{1 - \frac{W}{V}} = \frac{S}{V} \frac{V}{V - W} = \frac{S}{V - W}.$$

Это то же самое время.

Сегодня от математиков иногда приходится слышать, что Зенон просто не разрешает Ахиллесу переступить за время $t = \frac{S}{V - W}$ и поэтому быстроногий герой Троянской войны у Зенона никогда не догоняет черепаху. Но это опять-таки только вульгарная трактовка идей великого элейца. В действительности в «Дихотомии» и «Ахиллесе» Зенона волнует более глубокая проблема: как может начаться (в «Дихотомии») или закончиться (в «Ахиллесе») движение, если пространство и время мыслить бесконечно делимыми, непрерывными?

В неявном виде в апории «Ахиллес и черепаха» Зенон рассматривает и еще одно парадоксальное свойство непрерывного или, по-латыни, *континуума*. Возьмем две параллельные прямые, на которых отложим пути, пройденные Ахиллесом и черепахой соответственно (см. рис.). Проведем через начала и концы этих путей прямые до точки их пересечения. Проводя внутри полученного угла произвольные лучи и просто глядя на рисунок, ясно, что между точками, составляющими пути Ахиллеса AB и черепахи ab устанавливается взаимно однозначное соответствие, так что согласно внутренней структуре оба отрезка получаются одинаковыми и тогда вполне естественно выходит, что Ахиллес никогда и не должен догнать черепаху! Снова умопостигаемый Путь Истины и осязаемый Путь Мнения расходятся! И снова апория Зенона подводит нас к сложнейшей проблеме современной математики — проблеме континуума.

Сегодня хорошо известно, что два неравных «на вид» множества,



обладающих свойством континуума, — например, два различных отрезка или отрезок прямой и вся прямая или даже прямая и плоскость и даже любое n -мерное пространство — являются равными с точки зрения их внутренней структуры или, как говорят математики, обладают равной мощностью. Факт внутреннего структурного равенства двух внешне неравных множеств поражает каждого, кто впервые с ним сталкивается. Сам Георг Кантор, доказавший уже в наше время равномощность подобных континуальных множеств, испытал острейшую «драму идей», осмысливая свои результаты. Кантор долгое время отказывался верить своим собственным доказательствам и лишь после мучительных сомнений решился признать в них в письме своему другу, математику Дедекинду.

Но ведь апории Зенона за два с половиной тысячелетия до Кантора подводят нас к основному свойству множества мощности континуума, согласно которому между двумя сколь угодно близкими точками существует бесконечное множество точек. Это свойство континуума доступно только разуму, его отказывается принимать чувство. Но ведь именно благодаря этому свойству континуума, пойманному чуткой интуицией Зенона, и путь, пройденный быстроногим Ахиллесом, и путь неуклюжей черепахи становятся одинаково бесконечно долгими или попросту равными. По той же причине и движение, постигаемое разумом, никогда не может начаться, ибо с самого начала мысль пробуксовывает на пути к ближайшей точке, от которой ее отделяет также бесчисленное множество точек.

Две другие апории против движения — «Стрела» и «Стадий» — являются своеобразными антитезами к рассмотренным двум. Если тезы «Дихотомии» и «Ахиллеса» по существу идентичны и состоят в том, что движение не может ни начаться, ни закончиться в предположении, что пространство и время бесконечно делимы, то «Стрела» и «Стадий» образуют к ним антитезы: движение невозможно и в том случае, если допустить, что пространство и время дискретны, атомарны. Мы ограничимся рассмотрением только одной апории.

Стрела. «Третий аргумент... гласит, что летящая стрела стоит на месте. Этот вывод проистекает из постулата о том, что время состоит из отдельных «теперь»: без этого допущения умозаключение невозможно. Если всякое тело покоится там, где оно движется, всякий раз, как занимает равное себе пространство, а движущееся тело всегда занимает равное себе пространство в каждое «теперь», то летящая стрела неподвижна».

Содержание «Стрелы» таково. Поскольку время полета стрелы представимо в виде множества мельчайших, неделимых далее моментов, то в каждом из таких моментов стрела находится в каком-то вполне определенном месте, что в свою очередь означает, что в каждое мгновение стрела находится в покое. Значит, стрела покоится в течение всего полета.

Будучи наиболее простой и вопиюще парадоксальной, апория «Стрела» породила грандиозную дискуссию, начатую Аристотелем и

длящуюся по сегодняшний день. Аристотель справедливо заметил, что по отношению к мгновению нельзя говорить ни о движении, ни о покое, т.е. понятия движения и покоя имеют смысл не в момент времени t и в точке с координатой x , а в некоторых интервалах времени Δt и в окрестности точки Δx . Тогда, перекидывая мостик от Аристотеля к Ньютону, мы можем охарактеризовать движение стрелы за время Δt и в интервале Δx их отношением, именуемом средней скоростью $\frac{\Delta x}{\Delta t}$.

Переходя к пределу в этом отношении при $\Delta t \rightarrow 0$, мы, следуя Ньютону, получим мгновенную характеристику движения или мгновенную скорость тела, именуемую производной:
$$V \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Если скорость тела $V = 0$, то тело покоится, если $V \neq 0$, то тело движется.

Но скорость тела — это опять-таки внешняя характеристика движения, найденная на Пути Мнения. А как покоится и как движется тело? Каковы внутренние пружины этого механизма? Как происходит переход согласно Пути Истины от одной точки к ее бесконечно близкой соседке? Чтобы понять это, интервалы Δx и Δt необходимо устремить к нулю, но это значит допустить бесконечную делимость времени и пространства, и тогда апория «Стрела» перейдет в апорию «Дихотомия». Мы же вновь останемся один на один с непреодолимыми трудностями Зеноновых «непреходимостей».

Мы не можем погружаться в бездну обсуждений и поисков выхода из Зеноновых апорий. Сделаем только одно замечание по поводу одного их решения, до недавнего времени почитавшегося в нашей философии как единственно верное. Решение это первым нашел Георг Гегель, который заметил, что движущийся предмет в каждый момент времени находится в данном месте и не находится в нем. Идея противоречивости движения была затем разработана Ф. Энгельсом, писавшим: «Движение — само есть противоречие; уже простое механическое перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно — в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нем. А постоянное возникновение и одновременное разрешение этого противоречия — и есть именно движение» (т. 20, с. 123). Казалось бы, выход найден — все дело в диалектическом понимании движения: в каждый момент времени тело движется и покоится, находится в данной точке и не находится в ней. Но как совместить эти исключаяющие друг друга утверждения с законами логики, в частности с основным законом логики — законом исключенного третьего, запрещающим одномоментное совмещение двух взаимно исключających утверждений? Значит, необходимо отказаться от логики вообще или строить некую новую, диалектическую логику, в которой закон исключенного третьего может не выполняться? И вновь круг вопросов разрастается с новой силой.

Таковы в общих чертах трудности, которые с божественной прозорливостью впредсказал в свои апории великий Зенон. В XX в., с развитием квантовой механики, началась новая жизнь Зеноновых эпихейрем в физике элементарных частиц. Атомная физика с удивительной точностью стала воспроизводить противоречия, содержащиеся в апориях Зенона: с одной стороны, она допускает существование неделимых квантов, с другой — признает их чем-то непротяженным; с одной стороны, микрочастицы обладают дискретными свойствами частиц, с другой — непрерывными свойствами полей. Неожиданное истолкование Зенонова «Стрела» находит в теории регенерационного движения элементарных частиц, согласно которой элементарная частица движется, исчезая в одной пространственной ячейке и возрождаясь в соседней, подобно бегущему по гирлянде огоньку. «Смерть» и «возрождение» частицы объясняются ее взаимодействием с полем, в котором происходит движение.

Таков был Зенон — отважный гражданин и дерзкий философ. Гражданин, не искавший легкой смерти и не заискивавший перед ней. Философ, не обходивший трудностей, а выходявший им навстречу. С именем Зенона открывается новый этап в истории античной философии: Зенон резко обрывает мифолого-эпические повествования предшествовавших ему натурфилософов и смело вводит в философию логико-математическое начало. Философия Зенона — это уже не красивая натурфилософская сказка, а скрупулезное логико-математическое исследование. Не случайно и в нашем повествовании в главе о Зеноне появилось так много математики.

Отныне математика и философия пошли рука об руку, и если предшествовавшего Зенону Пифагора можно назвать первым философом в математике, то Зенон — это первый математик в философии. Через сто лет Платон на вратах своей Академии начертит: «Негеометр — да не войдет!», а через 2300 лет «русский Архимед» математик В. А. Стеклов напишет: «Математика всегда являлась и является источником философии, она создала философию и может быть названа «матерью философии». Апориям Зенона — этому крепчайшему сплаву философской универсальности и математической остроты, как и всякой истинной философской проблеме, уготована вечная жизнь на Пути Истины.

Но так стало потом, а тогда было другое. Парменид и Зенон посеяли большую смуту в головах всех древнегреческих мудрецов. Отныне две дороги — Путь Истины и Путь Мнения — стали вести к тайнам бытия. По какой из них следует идти философу? Да и сам мир в своих сущностных основах оказался расколотым надвое — то ли он был текучим по Гераклиту, то ли неподвижным по Пармениду? Поэтому следующим шагом античной философии стала естественная попытка примирить Гераклитову текучесть и Парменидову неподвижность. Эту благородную миссию взял на себя Демокрит.

ДЕМОКРИТ

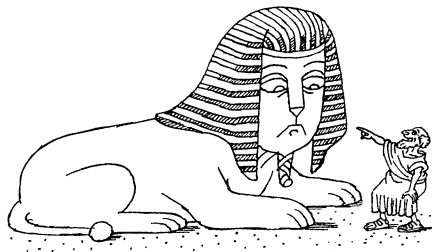
(ок. 470 до н.э. — ?)



Найти одно причинное объяснение я предпочел бы сану персидского царя.

Следующим шагом античной философии стала естественная попытка примирить Гераклитову текучесть и Парменидову неподвижность. Эту благородную миссию взял на себя Демокрит. Если Гераклит за свой скорбно-сосредоточенный вид получил прозвище «плачущего философа», то Демокрита, который без смеха не появлялся на людях, молва окрестила «смеющимся философом». Однако смех Демокрита скорее был смехом сквозь слезы — и это роднит его с Гераклитом, ибо смеялся Демокрит, как утверждает Сенека, от того, что ему казалось несерьезным все, что делалось людьми всерьез. Смеялся он от того, что достойной смеха ему представлялась вся людская суета. И в этом смысле все мудрецы оказываются «плачущими», ибо, как сказал на другом берегу Средиземного моря иудейский мудрец Екклезиаст, «во mnogой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь». Жизнь и судьба Демокрита — лучшее тому подтверждение.

...Клубы пыли, поднимаемые всадниками и пехотой, заслоняли солнце. Зловещие змеиные извивы гигантской колонны начинались за



горизонтом и уходили за горизонт. Там, далеко впереди, где жаркая пыль Эллады еще не клубилась под сандалиями воинов, 365 юных магов в пурпурных одеждах несли священный вечный огонь. За ними шли бесчисленные отряды различных народностей: прежде всех сами персы в пестрых хитонах и с плетеными щитами, мидяне с короткими копьями и большими луками с камышовыми стрелами, ассирийцы в медных шлемах, бактрийцы с обоюдоострыми боевыми секирами, скифы в островерхих тюрбанах, индийцы в хлопковых одеждах, арабы в длинных бурнуссах, эфиопы с лошадиной шкурой на голове, ливийцы в кожаных доспехах, парфяне, хорасмии, согдийцы, гандарии, каспии, утии, парикании, пафлагонцы, мариандины, сирийцы, фригийцы, армении, мосхи, мары и т.д.

Через интервал, так чтобы пыль, если не осела, то хотя бы успокоилась, шествовала тысяча отборных персидских всадников и тысяча отборных копьеносцев. Потом следовали десять священных нисейских коней огромного роста и в роскошной сбруе, за ними восемь белых коней везли священную колесницу бога Солнца Ахурамазды. Возница шел позади коней, держа в руках узду, ибо никто из смертных не мог осквернить седалище колесницы. Далее снова шли знатные копьеносцы, отборные всадники, пешие воины, снова нестройные полчища покоренных народов и, наконец, повозка с матерью царя, повозка с женою, множество женщин из свиты обеих цариц, пятнадцать кибиток с детьми царя и воспитателями, 365 царских наложниц, толпы евнухов. Следом на 600 мулах и 300 верблюдах везли царскую казну в сопровождении многочисленной охраны. Потом снова ехали женщины — теперь жены царских приближенных, толпы работоторговцев, торговцев, снабженцев и прочее. Все-таки колонна имела конец. Это был арьергардный отряд, руководивший ее движением и беспрестанно сновававший вдоль нее.

Так в 480 г. до н.э. персидский царь Ксеркс начал свое шествие по волнистой земле Эллады. Еще не вступив ни в один бой, армия Ксеркса сметала все съедобное на своем пути, а конница персов, по свидетельству Геродота, выпивала целые озера. Казалось, не только ничто живое, но и никакая природная сила не в состоянии была удержать эту могучую людскую лавину.

Но свершилось чудо, точнее чудо свершили немногочисленные греки. В отчаянных схватках при Фермопилах, Саламине, Платеях греки разгромили персов или, по крайней мере, нанесли им серию смертельных ударов. Не прошло и года, как по той же дороге Ксеркс с остатками поверженной армии бежал к спасительной переправе через Гелеспонт. Вот как описывает этот бег Геродот.

«Царь привел с собой, можно сказать, почти жалкие остатки войска. Куда бы только и к какому народу персы ни приходили, всюду они добывали себе хлеб грабежом. Если же не находили хлеба, то поедали траву на земле, обдирали кору деревьев и обрывали в пищу древесную листву как садовых, так и дикорастущих деревьев, не оставляя ничего. К этому их побуждал голод. Кроме того, в пути войско пора-

зила чума и кровавый понос, которые губили воинов. Больных приходилось оставлять, поручив питание и уход за ними жителям городов, через которые царь проходил. Одних пришлось оставить в Фессалии, других в Сирисе, что в Пеонии, и в Македонии. Там Ксеркс оставил и священную колесницу Зевса...»

Однако не все греки были единоклюны в священной борьбе за независимость родины. Многие северные провинции равнодушно наблюдали за смертельной схваткой в центре Эллады, более того, некоторые из них беспринципно пособляли персам. Чем дальше отстоял полис от Афин, тем «ближе» оказывался он к персам, поэтому неудивительно, что наиболее неблагоприятную роль в войне с персами сыграли Абдеры — самый северный полис самой северной провинции Фракии. Абдериты давно слыли среди греков хитрыми и коварными лицедеями, прикидывающимися наивными простаками. В трудную годину, как известно, всякая скверна вылезает наружу. Геродот свидетельствует, что «Ксеркс со времени бегства из Афин здесь впервые развязал свой пояс, чувствуя себя в безопасности». Царский прием и домашний уют поверженный Ксеркс нашел в доме абдерского богача Дамасиппа — отца будущего философа Демокрита.

Но, как говорится, нет худа без добра. Размягченный сладким вином и богатыми яствами, Ксеркс решил по-царски отблагодарить радужного хозяина. Он подарил Дамасиппу шитую золотом тиару, украшенный золотом меч (именно он, по словам Ксеркса, должен будет подсказать Дамасиппу правильное решение, если он предаст союз с Ксерксом), а для воспитания сыновей Дамасиппа оставил своих лучших мудрецов — магов и халдеев. То был воистину царский подарок, ибо персам под страхом смерти запрещалось открывать свою мудрость чужеземцам, хотя скорее всего Ксеркс таким образом просто облегчал свой обоз. Заметим также, что младший из трех сыновей Дамасиппа, Демокрит, в то время скорее всего еще и не родился. Тем не менее античная традиция единоклюно утверждает, что именно Ксерксовы маги были первыми, кто привил юному Демокриту восточную мудрость и разбудил в юноше страсть к познанию тайн мироздания.

Как полагает крупнейший знаток творчества Демокрита С.Я. Лурье, наиболее вероятную дату рождения философа следует отнести приблизительно к 470 г. до н.э. Это на десять лет ранее традиционной даты — около 460 г. до н.э., стоящей во всех энциклопедиях. Мы не знаем, дожили или нет Ксерксовы маги до рождения Демокрита, но так или иначе любовь к мудрости рано пробудилась в душе младшего из сыновей Дамасиппа. Рано юноша стал искать места для уединенных размышлений, находя их даже в могильных склепах. Рано стал столь глубоко погружаться в собственные мысли, что не замечал окружающих. Рассказывают, что однажды, размышляя в садовой беседке, юный философ не заметил даже жертвенного быка, привязанного отцом к беседке и отнюдь не безропотно ожидавшего своей участи.

Безмятежные раздумья юного Демокрита прервала смерть отца, оставившего сыновьям огромное наследство. Тут Демокрит совершает

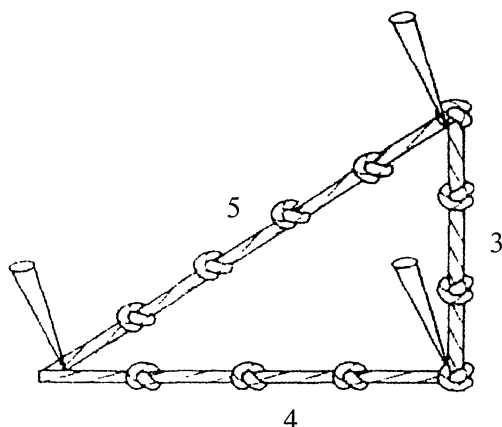
первое из своих легендарных чудачеств: он выбирает в наследство не землю, не постройки, не рабов и не скот, а деньги, правда, немалые, но все равно — самое ненадежное из всего состояния. Затем следует второй «безрассудный» поступок юного богача: в поисках истинной мудрости он отправляется путешествовать. А мудрость в те времена шла на Элладу с Востока.

Итак, путь Демокрита из Абдеры лежал на восток, точнее, вначале на юг — к египетским жрецам, а затем на восток — к персидским магам, вавилонским халдеям и даже индийским гимнософистам. Надо сказать, что маршрут Демокрита для странствующего эллина, тем более для жаждущего знаний любознательного, выглядит достаточно традиционно. Греки боготворили египетскую древность — ведь пирамиды для эллинов были столь же древними, как и развалины Акрополя для нас, — и греки, быть может, с детской наивностью отождествляли древность с мудростью. Орфей, Гомер, Солон, Фалес, Пифагор, Платон, Евдокс — все знаменитости Эллады непременно отправлялись почерпнуть египетской мудрости. Начиная с Фалеса к «научным» маршрутам греков прибавились Персия, Вавилон и даже Индия. Разумеется, столь давняя традиция не могла не иметь под собой прочного основания: и древнеегипетская геометрия, и древневавилонская алгебра и астрономия, и древнеиндийская философия многому могли научить пытливого эллина. Но верно также и то, что все достижения всех древних цивилизаций кажутся просто младенческим лепетом в сравнении с тем, что дала человечеству греческая культура.

Грекам чуждо было чванливое пренебрежение к достижениям другого народа. Греки смело бросались в опасные путешествия, с жадностью впитывали чужие обычаи, легенды, учения, обогащались заимствуя и обогащали заимствованное. Не в этом ли состоит одна из разгадок знаменитого «греческого чуда» — стремительного и высочайшего культурного расцвета греческой нации?

Демокрит до конца дней гордился своими путешествиями и высоко ценил обретенные в них знания: «Я объездил больше земли, чем кто-либо из современных мне людей, подробнейшим образом исследуя ее; я видел больше, чем все другие, мужей и земель и беседовал с наибольшим числом ученых людей. И никто не обличил меня в ошибках при складывании линий, сопровождающемся доказательством — даже так называемые гарпедонапты¹ у египтян. Включая пребывание у последних, я провел на чужбине около восьми лет».

¹ Гарпедонапты — буквально «натягиватели веревок» — особая профессия в Древнем Египте, нечто вроде инженера-строителя. С помощью веревки, имеющей 12 равноотстоящих узлов, гарпедонапты размечали на земле прямоугольный треугольник с отношением сторон 3:4:5 ($3+4+5 = 12$) — так называемый египетский треугольник. Построенный таким образом прямой угол являлся основой для любого архитектурного проекта. Разметка будущего храма или пирамиды гарпедонаптами сопровождалась торжественной церемонией, а сами гарпедонапты были высокопочитаемыми людьми.



Построение прямого угла гарпедонаптами с помощью египетского треугольника $3^2 + 4^2 = 5^2$

Однако вернувшись домой — а это было где-то около 430 г. до н.э., — Демокрит узнал, что появился еще один центр мировой мудрости. Это Афины, в которых к тому времени блистали Анаксагор, Сократ и даже земляк Демокрита Протагор. То, что центр греческой мудрости сместился из восточных провинций Эллады в Афины, не могло оставить равнодушным Демокрита: с одной стороны, он радовался за славные Афины, подарившие независимость всей Элладе, с другой — огорчался за соседей-провинциалов, которые своими руками передавали пальму философского первенства в руки Афин. В любом случае Демокрит почувствовал острое желание побывать в Афинах. Ну, а сесть на корабль и отправиться к незнакомым берегам было для него привычным делом.

Афины поразили Демокрита. Шел знаменитый «Периклов век», длившийся всего 32 года с 461 по 429 г. до н.э. — от прихода Перикла к власти до его смерти. В ознаменование побед над персами Перикл развернул грандиозные работы по возрождению Афин и реконструкции Афинского акрополя, который он мыслил превратить в символ величия и славы Афин. Замыслы Перикла воплощал в мраморе его друг Фидий. В необычайно короткие сроки священный холм Акрополя украсили жемчужины мирового искусства: бронзовая статуя Афины-Воительницы, чье сверкающее на солнце копье было видно уже с моря, торжественный вход на Акрополь — Пропилеи, главный храм Акрополя — величественный и изящный Парфенон, внутри которого находилась двенадцатиметровая статуя из слоновой кости и золота Афины-Девы (Афины-Парфенос). Уже современники осознавали уникальность шедевров Афинского акрополя. «Они так хороши и многочисленны, — сказал в IV в. до н.э. оратор Демосфен, — что ни для кого из следующих поколений не осталось возможности их превзойти».



Поражают масштабы строительства: каждая из 58 десятиметровых колонн Парфенона — это 350 тонн мрамора, обтесанного вручную и поднятого вручную на стометровую высоту священного холма; рельефный фриз Парфенона — это 160 метров непрерывной скульптуры, каждый обломок которого является сегодня предметом вожделения любого музея мира; это 365 фигур людей и 227 животных, это гимн в камне неистощимой фантазии Фидиевого гения; статуя Афины-Девы — это не только повергавшее в изумление изображение богини, но это и бесчисленное число пригнанных друг к другу кусочков слоновой кости и это 1200 килограммов чистого золота. Но поражают и темпы строительства: Парфенон, который и по сей день изумляет исследователей скрупулезной продуманностью деталей, включая и поправки на оптические иллюзии, был сооружен за 9 лет (447—438 гг. до н.э.). Пропилеи построены за 5 лет (437—432 гг. до н.э.), а семнадцатиметровую статую Зевса в Олимпии — одно из семи чудес света — Фидий создал всего за несколько лет.

Однако столичный блеск и суета пришлось не по душе абдерскому затворнику. Демокрит повидал всех прославленных афинских мудрецов, хотя и здесь был верен самому себе и предпочитал оставаться в тени. «Я пришел в Афины, и ни один человек меня не знал», — часто потом вспоминал он. Впоследствии Цицерон так прокомментировал эти слова Демокрита: «Вот твердый и уверенный в себе человек, который гордится тем, что чужд стремлению к славе!»

Но были, очевидно, и более глубокие причины, по которым Демокрит не сошелся с афинскими мудрецами. С каждым из них он расходился в главном — в выборе философской системы, поэтому о плодотворном сотрудничестве с ними не могло быть и речи. С другой стороны, не в характере Демокрита было затевать шумные философские баталии — он просто молча отступил. Да и в самом деле, как мог

первый в античном мире естествоиспытатель-энциклопедист Демокрит найти общие интересы с моралистом Сократом, которого вопросы устройства мироздания вообще не интересовали? Что общего, кроме родных Абдер, было у Демокрита с Протагором, который смысл философствования видел не в том, чтобы вывести мысль из лабиринта сомнений, а в том, чтобы загнать мысль в тупик, за что и был прозван Демокритом «спорщиком» и «заковырщиком»?

Возможно также и то, что рассудительный Демокрит считал за благо уехать из Афин, не дожидаясь скандальных разбирательств по поводу его безбожных воззрений на устройство мироздания. Ведь уже шел процесс над безбожником Анаксагором и сгушались тучи над Протагором. Последний, в своем сочинении «О богах», хотя и выражался достаточно осторожно, но для того времени и более чем крамольно: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни».

Так или иначе, решение было принято — Демокрит возвращался домой. Главная цель поездки в Афины была достигнута. Демокрит убедился в том, что афинские мудрецы не менее, но и не более мудрецы, чем и он сам, что ему вполне по плечу самостоятельный путь в философии. «Не много», — скажет иной скептик. Нет, много, ибо для творческой личности, постоянно сомневающейся в выборе пути и в оценке собственных сил на этом пути, уверенность в себе есть основа будущих успехов.

Излишне говорить, что в родные Абдеры Демокрит вернулся совершенно без денег. В те времена сей прискорбный факт не являлся просто личной проблемой (для Демокрита, кстати, не столь уж и болезненной — семьи у него никогда не было, особых претензий тоже). По законам Абдер гражданин, промотавший отцовское наследство, лишался права погребения на родине. Так что прямо с корабля странствующий философ попадал на «бал» — предстояло судебное разбирательство.

Демокриту нечего было сказать в свое оправдание. Отцовские деньги действительно растворились как дым. Не было ни собственного дома, ни собственного ремесла, ни земли — ничего. Вместо оправдания Демокрит попросил разрешения прочитать перед судьями лучшее из своих сочинений — «Большой мирострой».

Эффект от чтения «Миростроя» оказался неожиданным. И не только для философа, но, видимо, и для судей. И судьи, и любопытствующая публика были потрясены открывшейся перед ними глубиной мысли своего соотечественника. Все вдруг поняли, что перед постыдным судилищем оказался человек, который составляет подлинную славу безвестных Абдер. Демокрит был не просто оправдан, но и жалован пятьюстами талантами — суммой по тем временам немалой.

Демокрит поселился на краю Абдер в небольшом домике, который снял для него средний брат Дамос. Ничто не отвлекало теперь абдерского мыслителя от главного дела своей жизни — философской мыс-

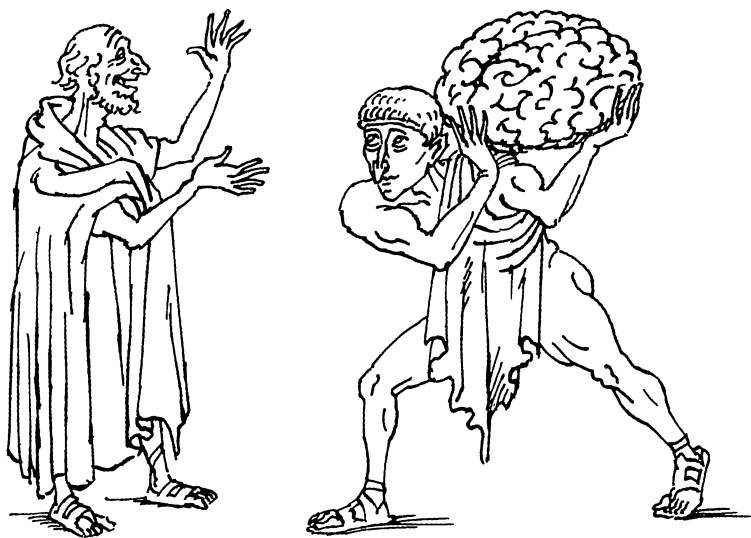
ли. За свою долгую жизнь — а прожил Демокрит, по единодушным свидетельствам всех доксографов, более ста лет — философ написал около семидесяти трактатов. Поражает не только число, но и разнообразие тем, рассматриваемых Демокритом. Это и естественнонаучные произведения — «Большой мирострой», «Малый мирострой», «Космография», «О планетах», «О природе», и математические сочинения — «О касании круга и шара», «О геометрии», «О числах», и трактаты по теории искусств — «О ритмах и гармонии», «О поэзии», «О красоте слов», «О живописи», и этические работы — «О душевном настроении мудреца», «О мужестве, или О добродетели», «О ровном настроении духа», и биографические — «Пифагор», и врачебные — «Врачебная наука», и военные — «Тактика», «Военное дело» и т.д.

Увы, ни одно из произведений Демокрита не сохранилось. Это великая трагедия великого античного мудреца. Мы не знаем, когда произошла эта трагедия: через тысячу лет, в эпоху средневековья, или же сразу после смерти мыслителя. Как ни горько, но есть основания подозревать в этом чудовищном злодеянии самого Платона. Во всяком случае, Диоген Лаэртский явно указывает на то, что «Платон хотел сжечь все те сочинения Демокрита, которые он смог собрать, но пифагорейцы Амикл и Клиний помешали ему, говоря, что это бесполезно: ведь эти книги уже на руках у многих людей. И это ясно из следующего: Платон упомянул почти всех древних философов, но не упоминает только одного Демокрита, даже в тех случаях, когда он должен был бы возражать ему. Ясно, он знает, что ему придется спорить с лучшим из философов».

Конечно, за свою долгую жизнь Демокрит нажил немало врагов не только в стане философов. Да и кому из простых смертных мог понравиться «смеющийся» старик, который без устали бичевал стяжательские страстишки своих сограждан? Кому из вечно суесящихся абдеритов могла прийти по душе такая оценка их труда: «Копая землю, ищут серебро, найдя серебро, хотят купить землю, купив землю, плоды ее продают, продав плоды, снова получают деньги...»? Какую из абдерских красавиц могли растрогать слова старого насмешника: «Телесная красота человека есть нечто скотоподобное, если под ней не скрывается ум»? Кто из абдерских купцов ожидал услышать такое: «Как из ран самая худшая болезнь есть рак, так при обладании деньгами самое худшее — желание постоянно прибавлять к ним»?

В конце концов обозленные сограждане объявили Демокрита сумасшедшим и пригласили для его освидетельствования знаменитого врача Гиппократ¹. И здесь жизнь преподнесла абдеритам свой очередной урок. Гиппократ не только не подтвердил диагноз абдеритов, но и в

¹ Прославленного древнегреческого врача Гиппократ Косского (460 — 377 (356?) до н.э.), «отца медицины», автора знаменитой «Клятвы Гиппократ» — морального кодекса врача — не следует путать с Гиппократом Хиосским (2-я половина V в. до н.э.) — известным древнегреческим геометром, автором изящной теоремы о «Гиппократовых луночках».



очередной раз устыдил их в бессердечном отношении к великому старцу. Причуды Демокрита, заметил Гиппократ, — это причуды великого человека, гения. И в том, что абдериты не понимают своего соотечественника, не его вина, а их беда. А Гиппократ и Демокрит, к изумлению абдеритов, не просто познакомились, но и подружились. После отъезда Гиппократа между прославленным врачом и великим философом завязалась оживленная переписка, и они еще долгое время одаривали друг друга своими идеями.

К концу дней своих, чувствуя недостаток физических и духовных сил на сосредоточение мысли, Демокрит решает на отчаянный шаг. Он выжиг себе глаза, дабы чувственное зрение не мешало его внутреннему умозрению. Ибо «зрение глаз препятствует зрению души», ибо, не различая черное и белое, он с еще большей остротой стал различать «хорошее и дурное, справедливое и несправедливое, благородное и позорное, полезное и вредное, великое и малое». Ибо и оставаясь слепым, он, по словам Цицерона, «странствовал по всему бесконечному пространству, не задерживаемый каким-либо пределом».

Беспрецедентный поступок Демокрита никого не мог оставить равнодушным. Уже в древности о нем ходили всякие пересуды. Говорили, что Демокрит просто ослеп от старости, что вся эта история есть чистая выдумка. Находили и оскверняющие память философа объяснения, как это сделал сумрачный любитель парадоксов Квинт Тертуллиан (ок. 160 — после 220 н.э.): «Демокрит ослепил себя, так как не мог смотреть на женщин без вожделения и страдал, если не мог ими овладеть». Нам представляется, что независимо от того, как это было на самом деле (чего теперь уже никто никогда не откроет), сам факт появления этой легенды именно о Демокрите свидетельствует о глубочайшей преданности великого эллина единственной женщине, которую он обожал и боготворил всю свою долгую жизнь, — Философии.

Таков был Демокрит — «смеющийся», а по существу «плачущий» философ, великий эллин, к которому в полной мере относятся слова Пушкина: «и гений, парадоксов друг». Такова была жизнь Демокрита. Жизнь, отданная философии. Жизнь, неразрывно связанная с лучшей порой античной культуры не только духовно, но и физически, ибо родился Демокрит, когда еще был жив «отец диалектики» Гераклит, а умер, когда Сократ уже выпил смертоносную чашу с цикутой, а Платон написал большую часть из своих бессмертных диалогов.

Важнейшей научной заслугой Демокрита является введение им в философию и естествознание понятия атома и разработка на его основе учения о дискретном¹ строении материи — *атомизма*, или *атомистики*. Исходя из единого фундаментального принципа — атомизма, универсальный гений Демокрита построил величественную модель, обнимающую все мироздание и проникающую в каждую его деталь. Но несравненно важнее то, что атомистические идеи Демокрита явились основой грандиозной трансэпохальной естественнонаучной программы, разработка которой самым интенсивным образом продолжается и сегодня.

Атом (*ατομος*) по-гречески означает неделимый, неразрезаемый. Атомы — это неделимые, а потому неизменные, вечные сущности, которые и составляют основу бытия. Вот как описывает атомы один из многочисленных античных комментаторов Демокрита: «Демокрит полагает, что вечные атомы по своей природе суть маленькие сущности, бесконечно многие по числу. Кроме них он предполагает сущим еще другое — место, бесконечно большое по величине. Называет он это место следующими именами: «пустотой», «ничем», «беспредельным»... Он полагает, что сущности настолько малы, что недоступны восприятию наших органов чувств. У них разнообразные формы и разнообразные фигуры, и они различны по величине. И вот из них, как из элементов, возникают вследствие их соединения видимые и осязаемые массы. Вследствие несходства и прочих указанных различий они пребывают в беспорядочном движении и носятся в пустоте, носясь же, они встречаются и переплетаются друг с другом, так что приходят в соприкосновение и располагаются рядом».

Интересно, что через 2000 лет это описание атомов почти дословно повторяет Ньютон: «Мне представляется, что Бог с самого начала сотворил вещество в виде твердых, непроницаемых, подвижных частиц и что этим частицам он придал такие размеры и такую форму и такие другие свойства, и создал их в таких относительных количествах, как ему нужно было для этой цели, для которой он их сотворил». Но и сегодня, когда атомная физика открывает целые миры в строении атома, Демокритова идея неделимости составляет существо современного определения атома как наименьшей неделимой части химического элемента, сохраняющей свойства этого элемента.

¹Дискретный (лат. *discretus*) — прерывистый, состоящий из отдельных частей.

Итак, атомы Демокрита неделимы, вечны, неизменны, однородны, бескачественны. Кроме того, атомы Демокрита бесчисленны, они обладают формой и величиной, пребывают в непрерывном движении и в различных комбинациях порождают все многообразие мироздания. Но откуда у Демокрита возникает именно этот набор свойств атомов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы вновь должны обратиться к онтологическим проблемам, поставленным Парменидом.

Атомы Демокрита явились очередной попыткой распутать клубок парадоксов онтологии Парменида. Демокрит наделяет свои атомы почти всеми свойствами Парменидова бытия. Не само бытие, т.е. не мир в целом един, неделим, вечен, неизменен, однороден, бескачественен, но каждый из атомов — «единиц» бытия, «кирпичиков» мироздания — един, неделим, вечен, неизменен, однороден, бескачественен. Легко заметить, что из свойств Демокритовых атомов выпало только свойство неподвижности Парменидова бытия, а поскольку атомов бесконечно много, то в целом нарушается и свойство единости бытия. Таким образом, при единых и неизменных субстанциальных основах в атомах сам мир у Демокрита стал множественным и подвижным. Тем самым Демокрит разрешил Парменидово противоречие между единым и неподвижным умопостигаемым миром и множественным и текучим чувственно воспринимаемым мирозданием, или, по Пармениду, между Истиной и Мнением.

Остановимся еще раз на важнейших свойствах Демокритовых атомов. Итак, атомы неделимы. Но неделимость есть важнейшее из субстанциальных свойств, точно подмеченное Парменидом. Только свойство неделимости дает нам надежду, встав на Путь Истины, в конце концов добраться до самой Истины. Именно свойство неделимости атома и двигало естествоиспытателями на пути к основам мироздания. И когда атом распался, тем же Демокритовым свойством неделимости, «атомности» были наделены элементарные частицы, а сегодня тем же свойством физики наделяют кварки.

Во-вторых, атомы Демокрита бескачественны. Этим постулатом Демокрит сразу отменяет возможность постижения атомов (читай — субстанциальных первооснов бытия) органами чувств. По Демокриту, в телах, например сахаре, нет качества сладости, но есть лишь определенное сочетание атомов. Человеческие органы чувств, взаимодействуя с телом (тем же сахаром), получают от него какие-то ощущения, которые для каждого индивидуума будут своими. Этим индивидуальным в каждом случае процессом взаимодействия объекта (сахара) и субъекта (человека) и объясняется *релятивизм*, относительность наших восприятий. Демокрит подчеркивает условность, относительность этого процесса: «Лишь в общем мнении существует цвет, в мнении — сладкое, в мнении — горькое, в действительности же... атомы и пустота». Так Демокрит разрешает еще одно Парменидово противоречие между «истиной» и «мнением». Заметим, что гипотеза о бескачественности, недопустимости нашим органам чувств атомов также подтверждается современной атомной физикой. При нарастающей мощи сов-

ременных приборов, делающих наши органы чувств (прежде всего зрение) неизмеримо сильнее, «кирпичики» мироздания упорно ускользают от наших глаз, слуха и т.д. Они остаются доступными лишь разуму, и, возможно, это также есть их фундаментальное свойство.

В-третьих, атомы Демокрита находятся в постоянном самодвижении. Они сталкиваются, сцепляются и разъединяются, образуя все многообразие мироздания. Для объяснения процесса развития Демокрит не нуждается ни в какой внешней, «потусторонней» силе. Его мир пребывает в вечном самодвижении. Материя у Демокрита сама создает материю, а сам Демокрит, таким образом, является последовательным материалистом.

Разумеется, атомистика Демокрита отнюдь не лишена изъянов, как, впрочем, и у современной атомной физики больше проблем, нежели успехов. Так, постулируя существование бесконечного числа атомов, Демокрит, по существу, превращает мир в непознаваемый хаос. Видимо, здесь сказалось просто незнание древними философами законов *комбинаторики*. Сегодня каждый школьник знает, что только перестановка, скажем, из 10 элементов дает $10! = 3\,628\,800$ комбинаций, а чуть более 100 химических элементов хватает для того, чтобы построить все многообразие природных соединений. Таким образом, требование бесконечного числа атомов в «атомистической» системе аксиом Демокрита является не только математически не оправданным, но и философски порочным.

Сегодня просто неловко подвергать критике представления Демокрита о форме атомов, которые он мыслил круглыми, продолговатыми и даже крючковатыми. Слишком далеко ушло современное естествознание. Но, пожалуй, не лишне заметить, что «круглые», по Демокриту, атомы следует понимать как атомы химически инертных элементов, а «крючковатые» — как химически активные.

Но как протекает процесс сцепления и разъединения Демокритовых атомов? Что движет этим процессом — Необходимость или Случайность? По этому поводу существуют полярно противоположные мнения: одни говорят, что Демокрит изобрел *идол случая*, другие — что Демокритов мир есть *мир жесткой необходимости*. Как это часто бывает в сложном вопросе, правыми следует считать и тех и других.

По Демокриту, на первом этапе возникновения мироздания сцеплением атомов и образованием веществ руководил случай. Однако затем, когда мир уже возник, его дальнейшее движение стала определять необходимость. Этот главный закон, управляющий развитием мироздания и дающий надежду в конце концов познать законы этого развития, сегодня называют законом *детерминизма*, т.е. определенности (лат. *determino* — определяю). Сам Демокрит формулирует этот закон с предельной ясностью: «Ни одна вещь не происходит попусту, но все в силу причинной связи и необходимости».

Прекрасной иллюстрацией детерминистических взглядов Демокрита служит легенда о том, как одному знатному абдериту с неба на голову свалилась черепаха. Итог этой из ряда вон выходящей случайнос-

ти, увы, был печальным. Казалось бы, дикий случай, рок, кара богов! Но Демокрит рассуждает по-своему. Все просто и закономерно. Черепаху схватил орел, но никак не мог добраться до ее лакомого мяса. Орел поднялся в небо, чтобы об камень разбить черепаху. В этот момент сверкнула лысина несчастного абдерита. Орел принял ее за камень и бросил черепаху. Никакой случайности, сплошная необходимость!

Итак, Необходимость, по-гречески Ананке, — вот истинная управительница мироздания. Ссылки на случай, считает Демокрит, есть только проявление ленности человеческой мысли, не желающей во всем докопаться «до самой сути». Для всякой неожиданности и непредсказуемости при их тщательном анализе может быть найдена закономерность, из которой они проистекают. Свое отношение к случаю Демокрит формулирует в резко недвусмысленной форме: «Люди сотворили себе кумира из случая как прикрытие для присущего им недомыслия».

Надо сказать, что Демокритов жесткий детерминизм явился стержневой идеей в развитии естествознания вплоть до самого последнего времени. В XVII в. последовательным детерминистом был Ньютон. На рубеже XVIII—XIX вв. Лаплас был увлечен идеей мировой машины, по состоянию которой на сегодня можно было бы предсказать весь ход событий во Вселенной, включая поведение животных и человека (просто дословно абдерит и черепах!). Только во второй половине XX в., благодаря работам Ильи Пригожина, стало проясняться, что не только Необходимость, но и Случай правит мирозданием. По этому поводу президент Международного союза чистой и прикладной математики Джеймс Лайтхилл сказал: «В течение трех веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по крайней мере с 1960 г., что этот детерминизм является ошибочной позицией».

Но в V в. до н.э. «апологию детерминизма», мысль о неотвратимости Ананке проводил в сознание греков не столько философ Демокрит, сколько поэт Софокл. Более того, нам представляется, что бессмертная трагедия «Эдип-царь» Софокла — современника, а возможно, и собеседника Демокрита в Афинах — повлияла не только на философскую систему Демокрита, но и на его дальнейшую судьбу. Напомним кратко содержание «Царя Эдипа».

В Фивах свирепствует мор. Фиванский царь Эдип — славный победитель кровожадного Сфинкса — получает прорицание о том, что бедствие на город навлек живущий в Фивах убийца прежнего царя Лая. Эдип клянется разыскать убийцу и спасти город, тем более что он женат на вдове Лая Иокасте. И тут надвигается неотвратимое.

Эдип просит старика-прорицателя слепца Тиресия назвать имя убийцы. Тиресий колеблется. Эдип настаивает и гневается. Тиресий предостерегает. Властитель глух и еще более настойчив. Наконец он добивается своего:

— Ты кровью землю осквернил, ты проклят! — таков был ответ Тиресия.

Эдип потрясен. Он обрушивается на старца с укорами во лжи, но в результате узнает самое страшное: Эдип не только убийца Лая, но Лай его отец. Значит, Эдип — убийца отца и муж своей матери!

Пораженный Эдип отказывается верить старику. Его успокаивает Иокаста: слова старца ложь, ведь Лаю предсказал Аполлон, что он падет от руки сына, и потому он велел убить сына еще ребенком. Убил же Лая не сын, а разбойник на перекрестке дорог близ Фив. Услышав о перекрестке дорог, Эдип вздрагивает. Он расспрашивает о подробностях убийства Лая, и с каждым ответом сердце его бьется все сильнее. Эдип признается Иокасте, что именно так, как и рассказывают сейчас очевидцы, он убил некоего дерзкого старика, который не хотел уступить ему дорогу. Неужели убитый старик и Лай одно лицо? Слишком все сходится! Костлявая рука Ананке снова протягивается к Эдипу.

И снова Эдип пытается ускользнуть от Судьбы. Прибывший из Коринфа вестник сообщает, что умер Полиб — отец Эдипа. Вновь луч надежды озаряет Эдипа: раз Полиб его отец и умер своей смертью, значит, он не виновен в отцеубийстве. Но тут вестник, желая утешить Эдипа, открывает ему тайну: Эдип не родной сын Полиба. Он был найден Полибом ребенком в лесу и усыновлен. Надежды рухнули. Вновь неминуемая Ананке душист Эдипа.

Старый пастух, единственный свидетель, которому Лай поручил убить маленького Эдипа, разбивает последние надежды. Да, он не убил Эдипа, а бросил его в лесу, где и нашел его Полиб. Все рухнуло. Ананке жестоко отомстила всем, кто пытался перехитрить ее. Зачем не был убит Эдип ребенком? Зачем он жив? Теперь он — убийца отца, он — муж матери, он — отец своих братьев!

Приговор Ананке свершен. Иокаста, обезумевшая от горя, повесилась. Доведенный до отчаяния, Эдип выкалывает себе глаза:

На что смотреть мне ныне?

Кого любить?

Кого дарить приветствиями?

Перед нами уже не гордый вспыльчивый царь, а согбенный тихий старец. Хор в последний раз напоминает о всевластии Судьбы, которую не может одолеть даже победитель Сфинкса.

Таково великое творение великого Софокла. Для Софокла это не только и, быть может, не столько трагедия главного героя Эдипа, сколько триумф стоящего за его спиной призрака Ананке. С бездушием механического молота, с математической холодностью вершит Ананке свой беспощадный закон. Тщетны усилия жалкого человека. Все перемалывает неотвратимая Ананке. Она жестоко смеется над ничтожным человеком, который, как слепой котенок, пытается ускользнуть из-под ударов ее молота. Что противопоставить ее бездушному расчету? Только не менее жестокий акт собственного ослепления —

пусть не будет у Ананке повода для сатанинского смеха! Пусть теперь она бьет беззащитного! В своем кровавом протесте Судьбе Эдип из жертвы превращается в победителя. Скорбь и муки очищают его. Свет Истины озаряет слепого Эдипа.

Но не такова ли и трагедия великого старца Демокрита? Всю свою долгую жизнь, презрев мирские радости, отрешившись от земных благ, он посвятил поиску Истины. И всю жизнь бездушная Ананке смеялась над ним. Каждый раз, когда в конце изнурительного пути луч Истины уже играл на его челе, когда казалось, что до нее осталось только протянуть руку, Истина из этой руки ускользала. Оставался только мираж и гулкий хохот Ананке. Тома сочинений Демокрита росли, но не находил он в них той малой заветной жемчужины, какую каждый мудрец ищет всю свою жизнь.

Так пусть не смеется более Ананке! Для чего глаза, если они не видят Истины? Если луч солнца более не согревает их? В слепом исступлении Демокрит ослепляет себя. Теперь у бездушной Ананке не будет повода для смеха. Теперь ничто не отвлечет его мысль от сладостного полета в беспредельность мироздания. Теперь его дух еще выше вознесется над бранным старческим телом.

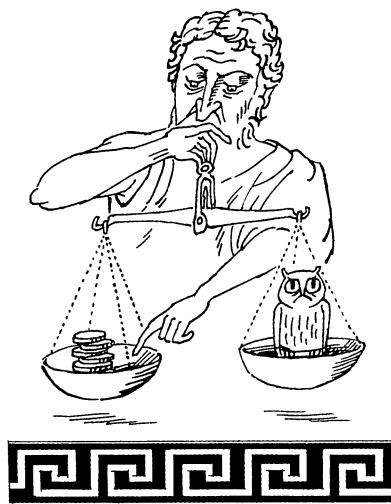
Разрыв между духом и телом в судьбе Демокрита достиг своего жуткого апогея. Но в это же время то же противоречие между духом и телом разрывало пополам и все тело философии. Тогда как в Абдерах великий Демокрит пытался объяснить мироздание, исходя из движения материальных атомов, в Афинах великий Платон хотел очистить философию от материального, оставив в ней одно бестелесное движение духа.

...А как светло, как радостно начинался тернистый Путь Истины! Старый Демокрит вспомнил, как легко шагал он некогда по горным кручам, как на крутой горной тропинке он встретил высокого юношу с огромной вязанкой дров за плечами, как острым глазом он отметил, что так ловко сложить поленья может только недюжинного ума человек, и как он сказал ему: «Дорогой юноша, так как у тебя выдающиеся способности делать все хорошо, то ты можешь совершить вместе со мной более значительные и лучшие дела!» Молодые люди взглянули друг другу в глаза. Струи теплого света шли из них прямо в душу одного и другого. Ровный божий свет струился в долину. С высоты горной гряды казалось, что весь мир лежал перед ними.

Юношу звали Протагор. Путь Истины, как горная тропинка, сбегал у его ног.

ПРОТАГОР

(ок. 480 — ок. 410 до н.э.)



Человек есть мера всех вещей.

Юношу звали Протагор. Путь Истины, как горная тропинка, сбегал у его ног. Родом юноша был из Абдер. Увы, это и все, что не вызывает сомнений в легенде о Протагоре и Демокрите. Во-первых, Протагор был старше Демокрита, и потому сомнительно, чтобы Демокрит стал обращаться к нему в столь покровительственном тоне. Во-вторых, Протагор, так же как и Демокрит, был сыном абдерского богача, обучавшийся у персидских магов, и маловероятно, чтобы он подрабатывал простым носильщиком дров. В-третьих, пути Демокрита и Протагора в философии расходились столь сильно, что трудно поверить, чтобы этих людей связывала юношеская дружба.

Итак, где-то около 480 г. до н.э. на самом краю Эллады, в далекой Фракии, в тихой Абдере, в дом местного богача Артемона (а по другим источникам, Меандрия) пришла радость: родился мальчик, которого нарекли Протагором. Учитывая, что Аполлодор акме Протагора относит к 84-й олимпиаде, т.е. к 444—441 гг. до н.э., произошло это между 484 и 481 гг. до н.э., хотя, конечно, само понятие возраста расцвета мужчины — акме — весьма условно. Тем не менее мы можем с достаточной уверенностью сказать, что Протагор, в отличие от Демокрита, мог своими глазами видеть бегущего из Эллады Ксеркса, когда тот переводил дух в Абдерах. Значит, и легенда о персидских магах, прививших юным абдеритам восточную мудрость, более подходит к Протагору, нежели Демокриту.

На этом, пожалуй, сходство биографий Протагора и Демокрита заканчивается. Протагор не получил от отца богатого наследства, он не имел возможности пуститься в увлекательное путешествие по экзотическому Востоку и, как личность неординарная и независимая, вынужден был зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Разница в «начальных условиях» при решении «дифференциального уравнения жизни», безусловно, определила и различие в путях Демокрита и Протагора к мудрости: первый, тратя отцовское наследство, на всю жизнь сохранил равнодушие к деньгам и прожил бессребренным послушником Истины, второй на пути к мудрости постоянно утолял и жажду личного обогащения. Заметим, впрочем, что большинство смертных, утоляя эту жажду, вообще не вспоминает о мудрости.

Мы не знаем доподлинно, каким образом Протагор обрел свои знания, кто был его учителем (если не верить легенде о Протагоре и Демокрите), зато хорошо знаем, что очень скоро Протагор сам становится знаменитым учителем мудрости, окруженным славой и многочисленными учениками. А путь к славе, какой бы она ни была — дурной или доброй, политической или философской, — лежал в те времена в Элладе через Афины. В этом сходятся биографии и Протагора, и Демокрита, и Анаксагора, и, возможно, Зенона и Парменида. И говорит это только об одном — о том, что Афины к тому времени стали политическим и культурным центром Эллады.

Скорее всего, еще молодым человеком Протагор впервые появился в Афинах и сделал первые шаги по созданию собственной философской школы. А в возрасте акме он вторично и, видимо, надолго приезжает в столицу. Теперь это уже не безвестный провинциал, а Мастер, вокруг которого толпятся ученики, предупреждающие каждый шаг и ловящие каждое слово Учителя.

Вот как не без иронии описывает Платон появление в Афинах Протагора: «Когда мы вошли, то застали Протагора прохаживающимся в портике, а с ним прохаживались по одну сторону Каллий, сын Гиппоника, его единокровный брат Парал, сын Перикла, и Хармид, сын Главкона, а по другую сторону — второй сын Перикла, Ксантипп, далее Филлипид, сын Филомела, и Антимер мендеец, самый знаменитый из учеников Протагора, обучавшийся, чтобы стать софистом по ремеслу. Те же, что за ними следовали позади, прислушиваясь к разговору, большею частью были, видимо, чужеземцы — из тех, кого Протагор увлекает за собой из каждого города, где бы он ни бывал, заволакивая их своим голосом, подобно Орфею, а они идут на его голос, замороженные; были и некоторые из местных жителей в этом хоре. Глядя на этот хор, я особенно восхищался, как они остерегались, чтобы ни в коем случае не оказаться впереди Протагора: всякий раз, когда тот со своими собеседниками поворачивался, эти слушатели стройно и чинно расступались и, смыкая круг, великолепным рядом выстраивались позади него» (Платон. «Протагор»).

Что же представляла собой философская школа Протагора? Отчего ей сопутствовал столь шумный успех во всей Элладе? Наконец, поче-

му Платон отзывался о ней непременно с иронией, часто переходящей в сарказм?

Себя и своих учеников Протагор называл софистами. Греческое слово *σοφιστής*, («софистес») происходит от *σοφός*, — мудрый или *σοφία* — мудрость и означает мудреца, знатока, мастера, человека, авторитетного во всех вопросах. Однако софисты были мудрецами особого рода. Их мудрость носила ярко выраженный «прикладной» характер, их учение не воспаряло на крыльях абстрактных умопостроений, а было обращено лицом к жизни, их философия из тиши уединений мудрецов выплескивалась в шумные толпы городской агоры. Так что «софист» для древнего грека означал скорее не «мудрец» в классическом понимании этого слова, а «мастер слова», «учитель красноречия».

Сегодня нам просто трудно представить и по-настоящему оценить, сколь велика была потребность в «учителях красноречия» в Греции середины V в. до н.э. и вообще сколь значительна была роль оратора в античном полисе. Непрерывно обновляемые, демократические институты — и законодательная, и исполнительная, и судебная власть — требовали огромного числа ораторов, которые становились таковыми в одночасье и в одночасье были вынуждены сменить свое привычное ремесло на незнакомое искусство риторики. Афинский суд состоял из немыслимого, по нашим меркам, числа присяжных, которые менялись ежегодно. К примеру, в суде над Периклом в 430 г. до н.э., за год до смерти великого стратега, участвовал 1501 судья. Таким образом, значительное число афинян, по существу непрофессионалов, было вовлечено в судебную деятельность. Более того, истец и ответчик, или обвинитель и обвиняемый, выступали на суде лично, от своего имени, так что успех процесса во многом зависел только от них самих.

В общественно-политической жизни, в которой участвовал едва ли не каждый афинянин, ораторам принадлежала прямо-таки магическая власть. Политические речи, чаще всего произносимые экспромтом, могли на глазах изменить ход дискуссии и буквально решить судьбу государства. Здесь все зависело от находчивости и остроумия оратора, умения его чутко реагировать на изменившуюся ситуацию и молниеносно менять тональность политической баталии. Человеку, не умевшему произносить речи, просто безрассудно было подниматься на трибуну. Итак, с развитием демократии в Древней Греции возникла острая потребность в профессиональных «профессорах красноречия». Общество не давало гражданам подобного образования, и этот пробел с успехом стали восполнять софисты.

Софисты прекрасно понимали, что на суде оратор должен был владеть не абстрактной философской мудростью, а искусством вести остроумную и красноречивую полемику. Древнегреческий суд, как, впрочем, и любой современный суд, являл собой скорее не Путь Истины, а Путь Мнения. Об этом с нескрываемым сарказмом пишет ревностный слуга чистой Истины Платон: «В судах решительно никому нет

дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобии, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь». Отсюда становится понятным «прикладной» характер софистической мудрости, ее, если угодно, «второсортность», которая раздражала чистых философов, каким был Платон.

Сами софисты лучше кого бы то ни было понимали специфику преподносимых ими знаний. Войдя в роль, они со временем, что называется, закусили удила и из учителей мудрости превратились в краснобаев, циничных интриганов мысли и просто «логических хулиганов», обожающих черное выдавать за белое, а белое — за черное. Вот некоторые образчики интеллектуального шаловства софистов, собранные Платоном в диалоге «Евтидем».

«Два софиста, братья Дионисодор и Евтидем, откровенно потешаются над простодушным афинянином Ктесиппом.

— ... Скажи мне, есть у тебя пес?

— Да, и очень злой, — отвечал Ктесипп.

— А щенята у него есть?

— Есть, тоже очень злые.

— Этот пес, значит, им отец?

— Сам видел, — отвечал Ктесипп, — как он покрывал суку.

— Ну что же, разве это не твой пес?

— Конечно мой, — отвечает.

— Следовательно, будучи отцом, он твой отец, так что отцом твоим оказывается пес, а ты сам — брат щенят.

Затем достается и вступившему в разговор мудрецу Сократу.

— А знаешь ли ты, — сказал он, — что подобает делать каждому из мастеров? И прежде всего, кому подобает ковать?

— Знаю, конечно, — кузнецу.

— А заниматься гончарным делом?

— Гончару.

— А кто должен забивать скот, свежевать и, нарубив мясо на мелкие куски, жарить его и варить?

— Повар, — отвечал я.

— Значит, если кто-нибудь делает то, что ему надлежит, он поступает правильно?

— Безусловно.

— А повару, как ты утверждаешь, надлежит убой и свежевание? Признал ты это или же нет?

— Признал, — отвечал я, — но будь ко мне снисходителен.

— Итак, ясно, — заявил он, — если кто, зарезав и зарубив повара, сварит его и поджарит, он будет делать то, что ему подобает; и если кто перекует кузнеца или вылепит сосуд из горшечника, то будет делать лишь надлежащее.

— Великий Посейдон! — воскликнул я. — Теперь ты увенчал свою мудрость! Но будет ли когда-нибудь так, что она станет моею собственной?»

Нетрудно представить, какими взрывами хохота сопровождалось словесные турниры софистов, собиравшие массу зрителей. Здоровые «дети человечества» греки любили здорово посмеяться. Труднее удержаться от соблазна привести еще хотя бы пару примеров искрометного софистического юмора.

«— То, чего ты не потерял, ты имеешь, не так ли? — спрашивает софист.

— Клянусь Зевсом, это так, — отвечает собеседник.

— Значит, ты имеешь рога! — торжествует софист. — Ты рогоносец, так как рогов ты не терял».

Или:

«— Сделать необразованного человека образованным — значит убить его, — заявляет софист.

— Как так? — недоумевает собеседник.

— Став образованным, он уже не будет тем, чем он был, не так ли? А убить человека — и значит сделать его не тем, чем он был».

Не так-то легко было уличить софиста во лжи. И на этот случай в его арсенале имелся готовый ответ: «Кто лжет — говорит то, чего нет. Но того, чего нет, нельзя сказать. Значит, никто не может лгать, тем более софист».

Надо сказать, что софистический нигилизм и скепсис в целом были созвучны настроениям греков и прежде всего афинян того времени. Черда греко-персидских войн, принесшая Элладу славу и небывалый расцвет, непрерывно перетекала в изнурительную и позорную братоубийственную Пелопоннесскую войну. Войны во все времена развращали людей, в особенности молодежь. Когда самое дорогое из того, что отпущено человеку — жизнь, — ничего не стоит, дух осмеяния и нигилизма распускается пышным пустоцветом. Безудержный смех софистов не знал границ: они осмеивали и гражданские устои, и нравственные заповеди, и вечные идеалы добра. Софистический дух тотального осмеяния смешивался с духом вседозволенности — неизменным спутником войн и дурманил голову молодежи. Недаром один из «героев» Пелопоннесской войны Алкивиад (ок.450—404 до н.э.), чья короткая жизнь вплоть до позорной смерти являла собой цепь самых бесстыдных измен всем и вся, был одним из любимых учеников Протагора.

Но вернемся к самому «отцу софистов» Протагору. Жизнь Протагора прошла в постоянных поездках или, как пишет Б. Рассел, «непрерывном лекторском турне» по городам и весям Эллады. В сопровождении лучших учеников, по существу ассистентов мэтра, Протагор гастролировал по бесчисленным полисам Греции, устраивая сеансы веселых словесных поединков. И здесь мы подходим к еще одной особенности деятельности Протагора, особенности, которую не мог простить ему Платон, да и многие современники.

Протагор был первым, кто начал брать плату за обучение. Об этом единодушно и с единодушным осуждением свидетельствуют все античные доксографы. Так, Диоген Лаэртский пишет: «Он первый стал брать

за уроки плату в сто мин; первый стал различать времена глагола и точно выражать время действия; стал устраивать состязания в споре и придумал уловки для тяжущихся; о мысли он не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя спорщиков берет начало от него». Другой античный свидетель добавляет: «Потому-то он и был прозван «Платная речь». Молва утверждала, что своей преподавательской деятельностью софисты нажили огромное состояние, а сам Протагор, торгуя «мудростью», заработал денег больше, чем Фидий искусством. Первую скрипку в этом хоре играл Платон, язвительно заметивший, что софисты «торгуют мудростью оптом и в розницу».

Таким образом, если переходить на современный жаргон, то Протагор был первым в истории репетитором. Но в отличие от сегодняшних репетиторов, странствующих с квартиры на квартиру, Протагор и его ученики странствовали по городам Эллады и Великой Греции. Быть может, это свидетельствует не столько о размахе деятельности Протагора, сколько о недостаточной образованности греческого общества того времени по сравнению с современным. Должны ли мы, следуя Платону, осуждать софистов за их нововведение? Предоставим ответить на этот вопрос выдающемуся современному «учителю мудрости» Б. Расселу: «Платон протестовал против практики софистов получать деньги за обучение отчасти с позиций сноба (по современным понятиям). Сам Платон обладал вполне достаточными средствами и поэтому был неспособен, по-видимому, понять нужды тех, кто не имел хорошего состояния. Странно, что современные профессора, которые не видят причины отказываться от жалованья, так часто повторяют платоновские обвинения против софистов».

Конечно, мы должны понять и Платона. Слишком глубока была пропасть, разделявшая Платона и софистов. По одну ее сторону одинокой скалой высятся обращенный в себя мыслитель. Ни палящее солнце, ни хлесткие ливни, ни удары грома — ничто из суетного течения окружающего «мира вещей» не может сдвинуть эту скалу, изменить убеждение мыслителя в том, что мирозданием правит чистая заоблачная идея. На другом краю пропасти на свой праздник жизни собрались софисты. Здесь смех и гомон, богатые наряды и пересыпаемые остротами речи, красивые дамы и галантные кавалеры. Но нет среди блеска софистической мишуры бескорыстной преданности Истине, и потому нет и не может быть моста, соединяющего оба берега этой пропасти.

Но мы вновь отошли от жизнеописания Протагора, хотя о других сторонах его деятельности известно совсем немного. В 444—443 гг. до н.э. Протагор во время одного из своих вояжей создал кодекс законов для города Фурии — новой колонии Афин, расположенной на юге Великой Греции в плодородной долине вблизи разрушенного Сибариса. Потом вновь вернулся в Афины, где по поручению Перикла участвовал в разработке проекта новой конституции. Естественно, что рано или поздно Протагор был втянут в политические дразги, липкой тенью сопровождающие всякую столичную жизнь. Глава популярной школы

софистов становился слишком популярным, чтобы не получить своей порции политических помоев.

Не мудрствуя лукаво, противники Протагора избрали испытанное оружие клеветы, которое без осечки уже ударило и по Фидию, и по Аспазии, и по Анаксагору. На основании закона Диопифа Протагор был обвинен в безбожии. Случилось так, что в доме Еврипида, где Протагор впервые прочел свою книгу «О богах» и тем самым, согласно античному обычаю, предал ее гласности, присутствовал некто Пифодор, богатый кавалерийский офицер. Мысли Протагора, естественные для кружка Аспазии и Еврипида, произвели на brave офицера слишком сильное впечатление. Влекомый патриотическим порывом, а скорее личной выгодой, Пифодор донес на Протагора, обвинив его в оскорблении религии.

На сей раз софистическая двусмысленность не помогла Протагору, утверждавшему, что о богах нельзя знать «ни того, что они существуют, ни того, что их нет», ибо препятствует этому «и неясность вопроса и краткость человеческой жизни». Сама постановка вопроса, само закравшееся в дилемму сомнение были крамольными. Хорошо зная нравы афинских судов, в которых «решительно никому нет дела до истины», Протагор счел необходимым заблаговременно удалиться из Афин, не испытывая судьбу и не надеясь на свое красноречие.

Но от судьбы не уйдешь. Корабль, спасавший Протагора от смертной казни в Афинах, утонул у берегов Великой Греции. Так в водах Мессинского пролива, разделяющего Апеннинский полуостров и Сицилию, закончился земной путь Протагора — «самого неискреннего, но и самого острого из софистов».

А в это время афинская инквизиция, не сумевшая схватить в свои сети главу софистов, вымещала свой гнев на его творениях. Предание утверждает, что книги Протагора были публично сожжены на афинской агоре. Всушенные жарким афинским солнцем, свитки папируса не надо было раздувать. Через несколько минут обратились в пепел более десятка сочинений Протагора — «Истина, или Ниспровергающие речи», «Прения, или Искусство спорить», «О сущем», «О науках», «О богах», «О государстве»... Только жалкие обрывки этих трактатов в пересказе последующих доксографов сохранились до наших дней. Так что и костры инквизиции предвосхитила универсальная античность, но через два тысячелетия вместе с книгами на костер стали возводить и их авторов.

О чем же писал в своих сочинениях Протагор? Какова стержневая идея его философской системы? Основным постулатом, который лег в основу софистической философии, был *релятивизм* (от лат. *relativus* — относительный) — философский принцип, состоящий в абсолютизации постоянной изменчивости мироздания и отрицания относительной устойчивости явлений. Главным свойством материи Протагор считал не ее объективность и наличие в ней некоего закономерного начала, но, напротив, ее изменчивость, текучесть, взаимопревращаемость всего сущего.

Легко заметить, что в своих воззрениях Протагор явился продолжателем «линии Гераклита» в философии, учившего о том, что *в мире все течет, все изменяется, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, что нельзя дважды прикоснуться к одной и той же смертной сущности*. Но если Гераклит и был релятивистом, то Протагор стал релятивистом в квадрате. Ученик Протагора и учитель Платона софист Кратил (2-я пол. V в. — нач. IV в. до н.э.) утверждал, что в одну и ту же реку нельзя войти и единожды, ибо постоянно изменяется не только окружающий мир (отчего на входящего дважды в реку текут разные воды), но постоянно изменяется и познающий мир субъект (отчего он и один раз не сумеет, точнее, не успеет, оставаясь самим собой, познать набегающую на него воду).

Итак, согласно «отцу софистов» Протагору и объект, и познающий его субъект постоянно меняются. Гераклитова относительность переросла у Протагора в абсолютный релятивизм, текучесть — в неуловимость, становление бытия — в его иллюзорность. Абсолютизируя изменчивость мира, софист Кратил пришел к выводу, что у изменчивых вещей не может быть и постоянного имени, а потому стал объясняться лишь жестами, указывая на вещи пальцем. Таков удел любой идеи, возведенной в абсолют: здоровое зерно обрастает в ней немислимым пустоцветом, а ее апологеты становятся смешными чудаками.

Конкретизируя свой тезис об относительности мироздания, Протагор пришел к выводу, что все изменения в мире происходят не как попало, а таким образом, что каждая сущность переходит в свою противоположность. Любая вещь как бы содержит в себе обе противоположности, и только в один момент доминирует одна из них, а в другой — другая. Через полстолетия Аристотель назовет эти две противоположности *действительностью* и *возможностью*, а средневековые схоласты на латинский манер назовут их *актом* и *потенцией*. Переход от возможного к действительному или от потенции к акту и есть процесс становления бытия или развития бытия.

Затем Протагору остается только один шаг до своего основного гносеологического, т.е. познавательного (от греч. γνῶσις — познание), вывода: если в мире все изменяется и переходит в свою противоположность, то о каждой вещи в процессе ее познания возможны *два противоположных мнения*. Диоген Лаэртский прямо указывает, что Протагор «первый сказал, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу». Впоследствии христианский теолог и писатель Климент Александрийский (? — до 215 н.э.) рассматривал этот вывод Протагора как важнейшую черту античного мировоззрения: «Следуя по стопам Протагора, эллины часто говорят, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу».

В принципе этот вывод Протагора является верным. Не случайно, характеризуя тот или иной объект, мы так часто употребляем оговорки — «с одной стороны» и «с другой стороны». Но здесь важно решить, какая из сторон является главной, доминирующей. Иначе с позиций релятивизма мы скатимся на позиции агностицизма, т.е. не-

познаваемости мира (от греч. $\alpha\upsilon\omega\sigma\tau\omicron\varsigma$ — непознаваемый). Именно этим путем и пошел Протагор. Поскольку в каждой вещи или в каждом процессе присутствуют две противоположные характеристики или две противоположные тенденции, то о каждой вещи или о каждом процессе можно высказать два противоположных мнения. Но тогда напрашивается естественный вывод о том, что *все истинно*.

С чисто софистическим блеском Протагор облекает свой основной тезис «о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу», и свой основной вывод «все истинно» в остропарадоксальную форму. Собственно, этот пример и вошел в историю логики как парадокс, носящий имя ученика Протагора Еватла. Здесь надо сказать, что Протагор был достаточно щепетилен в вопросе об уплате денег за его уроки. Чаще всего, по свидетельству Платона, Протагор поступал так: «Кто у меня обучается, тот, если хочет, платит, сколько я назначу; если же он не согласен, пусть пойдет в храм, заверит там клятвенно, сколько, по его мнению, стоят мои уроки, и столько мне и внесет». С Еватлом же, как рассказывает Диоген Лаэртский, Протагор поступил иначе.

Протагор заключил с Еватлом договор, согласно которому последний должен уплатить ему гонорар с первого выигранного судебного процесса. Однако Еватл не спешил пустить в дело полученные от Протагора знания и вообще не начинал судебной деятельности. Потерявший терпение учитель пригрозил ученику, что в таком случае он подаст на Еватла в суд. В ответ на наивный вопрос Еватла, за что же учитель привлечет его к суду, ведь он не выиграл еще ни одного процесса, а значит, и не обязан платить, Протагор сказал: «Если мы подадим в суд и дело выиграю я, то ты заплатишь, потому что выиграл я; если выиграешь ты, то заплатишь, потому что выиграл ты».

На этом месте рассказ Диогена прерывается, но его продолжение мы находим у римского писателя II в. н.э. Авла Геллия. Достойный ученик Протагора не остался в долгу. «Нет, — возразил Еватл, — если проиграю дело, то не буду обязан платить, ибо дело я проиграл. Выиграв же дело, я все равно не должен буду платить, ибо одержу победу».

Перед нами классический парадокс: Протагор должен получить гонорар только в том случае, если получить его он не должен; Еватл должен уплатить деньги только в том случае, если платить он не должен. Попытаемся прояснить ситуацию, для чего рассмотрим парадокс в терминах математической логики. Введем в рассмотрение следующие высказывания: A — Протагор выиграл дело; B — уплата по договору; C — уплата по решению суда. Соответственно отрицания этих высказываний будем обозначать символом \neg . Если Протагор выиграл дело (A), то Еватл его проиграл, т.е. он платит по суду (C) и не платит по договору ($\neg B$). Если Протагор проиграл дело ($\neg A$), то Еватл выиграл его, т.е. он не платит по суду ($\neg C$) и платит по договору (B). Итак,

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow C \wedge \neg B \\ \neg A &\Rightarrow \neg C \wedge B. \end{aligned}$$

Однако Протагора не интересует, как платит ему Еватл — по суду или по договору, так же как Еватла не интересует, как он не платит Протагору — по суду или по договору. Таким образом, для спорщиков высказывания B и C эквивалентны, т.е. $B = C = D$, где высказывание D означает просто «Еватл платит». Тогда мы приходим к парадоксальной ситуации, которая явно противоречит закону исключенного третьего

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow D \wedge \neg D \\ \neg A &\Rightarrow D \wedge \neg D. \end{aligned}$$

Получается, что действительно «все истинно»: если Протагор выиграл дело (Еватл проиграл), то Еватл должен и не должен платить; если Протагор проиграл дело (Еватл выиграл), то результат остается тот же. Протагор настаивает на выполнении первого члена конъюнкции (D — Еватл платит), Еватл, естественно, предпочитает второй член конъюнкции ($\neg D$ — Еватл не платит).

Устранить парадокс можно было бы, запретив распространять договор между Протагором и Еватлом на процесс по поводу гонорара, т.е. введя некий критерий, по которому выбирается одно из двух взаимоисключающих мнений. Однако по чисто житейским соображениям, введение такого критерия ничем не оправдано, и ситуация остается парадоксальной.

Перед нами отнюдь не софистическая уловка — софизм, в котором логическая ошибка умышленно скрытана за его вычурной формой, как это имеет место в рассмотренных нами софизмах. Перед нами чистый парадокс (от греч. *παράδοξος* — неожиданный, странный) или антиномия (греч. *ἀντινομία* — противоречие в законе) — противоречие, возникающее в теории, в данном случае в логике, при соблюдении в ней логической правильности рассуждений. Парадокс «Еватл», являющийся по существу разновидностью знаменитого парадокса Рассела, свидетельствует о глубоких внутренних недостатках в основаниях математики и математической логики. По-настоящему обратиться к этим недостаткам человечество нашло силы лишь через два с лишним тысячелетия. Сей трудный шаг сделал в начале нашего столетия Бертран Рассел. Однако это уже тема отдельной, нелегкой, но увлекательной книги.

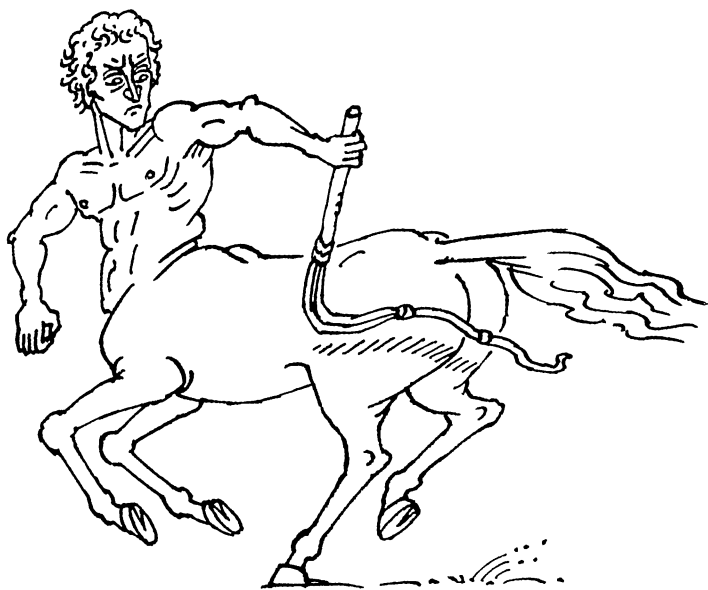
Но и во времена Протагора, когда законы логики еще не были даже сформулированы, современники «отца софистов» интуитивно осознавали всю логическую порочность вывода о том, что «все истинно». Тезис Протагора «все истинно» подверг резкой критике его современник Демокрит, а затем Платон и Аристотель. Аристотель, впервые сформулировавший логический закон исключенного третьего, в своей «Метафизике» писал: «Если относительно одного и того же вместе было бы истинно все противоречащее одному другому, то ясно, что все было бы одним и тем же. Действительно, одно и то же было бы и триерой, и стеной, и человеком, раз относительно всякого предмета можно нечто одно и утверждать и

отрицать, как это необходимо признать тем, кто принимает учение Протагора».

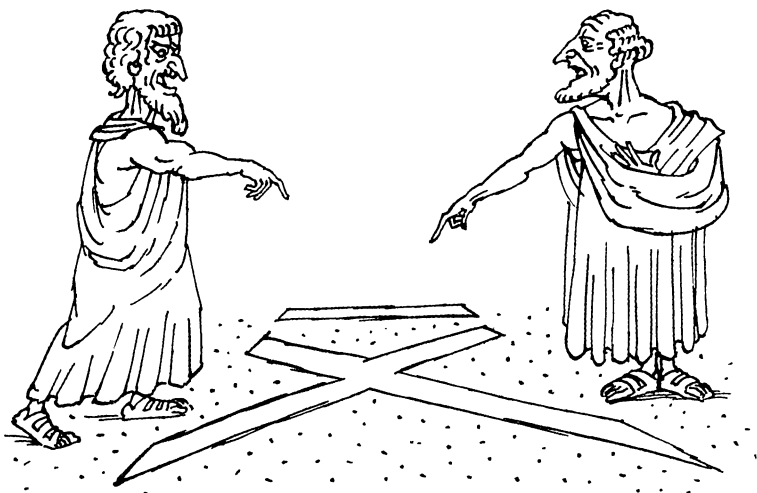
Очевидно, Протагор и сам осознавал, к каким абсурдным следствиям ведут его построения. Для того чтобы человек мог ориентироваться в окружающем его мире, необходимо осуществить выбор между двумя противоположными мнениями в пользу одного из них. Кто может осуществить этот выбор? Для Протагора сомнений нет — только человек! Так Протагор приходит к своему знаменитому тезису, сохраненному у Платона и Секста-Эмпирика: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют».

Эти крылатые слова неотделимы сегодня от имени Протагора. В таком виде они вошли во все учебники и энциклопедии, хотя нам представляется более удачным менее популярный перевод афоризма Протагора, принадлежащий выдающемуся знатоку античности М.Л. Гаспарову: «Человек есть мера всем вещам — существованию существующих и несуществованию несуществующих».

Не меньшие трудности вызывает толкование афоризма Протагора, которое начато еще Платоном, но продолжается и сегодня и, видимо, будет продолжаться и завтра, ибо объем истинно философской мысли беспределен. В диалоге «Теэтет» Платон устами Сократа так комментирует слова Протагора:



«С о к р а т. Так вот, он (Протагор. — *А.В.*) говорит тем самым, что-де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя. Ведь человек — это ты или я, не так ли?



Теэтет. Да, он толкует это так.

Сократ. А мудрому мужу, разумеется, не подобает болтать вздор. Так что последуем за ним. Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом, кто-то — нет? И кто-то не слишком, а кто-то сильно?

Теэтет. Еще как!

Сократ. Так скажем ли мы, что ветер сам по себе холодный или нет, или поверим Протагору, что для мерзнущего он холодный, а для немерзнущего — нет?

Теэтет. Приходится поверить».

Итак, вопрос о том, холоден ли ветер сам по себе или нет, согласно Протагору, лишен смысла, как и вопрос о том, силен ветер или слаб, ибо одного он сбивает с ног, а другой его не замечает. Для каждого, по Протагору, дует свой ветер. В своей критике такой абсолютизации субъективности ощущений Платон доходит до другой крайности, объявляя все ощущения ложными. Все чувственное истинно, и все чувственное ложно — вот два полюса, разделяющие Протагора и Платона. Ясно, что истина, как всегда, лежит где-то посередине. Но для того чтобы человеку хоть как-то ориентироваться в текущем мире ощущений, необходим некий критерий, позволяющий упорядочить ощущения человека. Протагор этого критерия не нашел. Платон в качестве такового предложил мир вечных и неизменных идей.

Правда, один критерий, позволяющий человеку находить выбор в мире взаимопротивоположных мнений, Протагор все-таки указывает. Этот критерий — выгода. Лучше бы Протагор не называл этот критерий! Слишком далекие последствия он имеет. В самом деле, тезис Протагора «все истинно» следующим шагом влечет тезис «все дозволено». А следующий шаг приводит софистов к нравственному нигилизму, ницшеанскому волюнтаризму и попранию всех моральных

норм. Вот как далеко может завести философа, казалось бы, безобидная логическая ошибка, сделанная им в начале пути.

Если в выборе между теплом и холодом человек может руководствоваться собственными субъективными оценками и собственной «выгодой», то в выборе между добром и злом человеку должно руководствоваться более высокими критериями, нежели личная выгода. По существу, духовная история человечества и есть история выработки, воплощения и, увы, попраiania таких критериев. Снижая оценочную планку до собственной выгоды, софисты, быть может, и против своей воли вставали на скользкий путь этического релятивизма.

Нравственный нигилизм — мрачный тупик в лабиринте софистической философии. Болезненные миазмы, идущие из этого тупика, отвратили философию софистов, философию в основе своей здоровую, светлую и жизнерадостную. Именно нигилистические миазмы осели на софистической философии в виде отрицательно-нарицательной патины, отчего слово «софист» стало восприниматься как нечто зазорное, означающее интеллектуальную безответственность, моральную шаткость и даже безнравственность. Софистика в сознании людей стала связываться с приютом для лжемудрецов, где вечные идеалы Истины и Добра подменялись пустословием и вседозволенностью. Дух стяжательства, смешиваемый с духом беспринципности и осмеяния, отравлял здоровое тело философии софистов. Отсюда понятно, почему Платон говорил, что быть софистом стыдно.

Однако не следует красить только черной краской софистов во главе с их крестным отцом Протагором, как это благодаря авторитету Платона было принято более двух тысячелетий, вплоть до XIX в. В философии софистов оттачивалась логика мышления, выкристаллизовывались ее законы, крепла сама человеческая мысль, едва только сбросившая с себя мифологическое покрывало. В философии софистов завершался переход всей античной философии от мифа к логосу.

Поистине с софистическим блеском дал одну из первых позитивных оценок творчества софистов русский писатель и философ Александр Герцен (1812—1870): «Софисты — пышные, великолепные цветы богатого греческого духа — выразили собой период юношеской самонадеянности и удачества... Что за роскошь в их диалектике! что за беспощадность! что за развязность! какая симпатия со всем человеческим! что за мастерское владение мыслью и формальной логикой! Их бесконечные споры — это бескровные турниры, где столько же грации, сколько силы — были молодецким гарцеванием на строгой арене философии; это — удалая юность науки, ее майское утро».

Прекрасно сказал Герцен! Но и сами софисты оставили человечеству превосходные образцы чеканной возвышенной прозы. Вот как писал о значении «логоса»-«слова» софист Горгий, понимавший, как и все мудрецы Эллады, *λογος* не в чувственно-звуковом, а в высоком — Гераклитовом — смысловом плане: «Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совер-

шает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить... Ибо подобно тому, как из лекарств одни изгоняют из тела одни соки, другие другое, и одни из них устраняют болезнь, а другие прекращают жизнь, точно так же и из речей одни печалят, другие радуют, третьи устрашают, четвертые ободряют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному».

Таковы были софисты, и таков был «отец софистов» Протагор. В истории античной философии Протагор не стоит особняком, подобно Гераклиту или Демокриту. Протагор оставил после себя многочисленную школу последователей-учеников. Школа эта просуществовала более ста лет, так что принято различать «старших софистов», живших во 2-й половине V в. до н.э., — это Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, и «младших софистов» (1-я пол. IV в. до н.э.) — это Алкидам, Трасимах, Критий, Калликл.

Подобно энциклопедистам «недавнего» XVIII в., софисты оказали значительное влияние на развитие всей интеллектуальной жизни Эллады, отчего эпоху софистов по аналогии с XVIII в. принято называть эпохой Просвещения. В философии софистов впервые в античной мудрости обозначился поворот от макрокосма Вселенной к микрокосму человека, от объекта к субъекту, от философии природы к философии человека. Софисты развили субъективную сторону диалектики, продемонстрировали гибкость, текучесть, взаимопревращаемость понятий. Из софистических уловок и логических шалостей очень скоро родились истинные законы логики.

В целом в истории античной мудрости софистам была уготована, быть может, не слишком почетная, но необходимая роль животворного, плодородного слоя, на котором не замедлили распуститься три лучших цветка в венке мудрости Эллады. То были Сократ, Платон и Аристотель.

СОКРАТ

(ок. 470 — 399 до н.э.)



Я знаю, что ничего не знаю.

В истории античной мудрости софистам была уготована, быть может, не слишком почетная, но необходимая роль животворного, плодородного слоя, на котором не замедлили распуститься три лучших цветка в венке мудрости Эллады. То были Сократ, Платон и Аристотель. Сократ развил «философию человека» софистов, сделав дельфийский оракул «Познай самого себя» знаменем всей сократической философии. Платон необычайно обогатил диалектический метод софистов, превратив диалектику в основной философский метод. Аристотель, анализируя и классифицируя логические ошибки софистов, сформулировал законы логики.

И хотя вклад Платона и Аристотеля в античную, да и всю мировую философию неизмеримо выше вклада Сократа, Сократ был и остается самой популярной личностью в истории всей философии. Имя Сократа не только в Древней Элладе, но и в сегодняшнем мире остается синонимом мудреца, а его жизнь — эталоном служения Истине. В отличие от Платона и Аристотеля, чье философское наследие измеряется пухлыми томами собраний сочинений, Сократ едва ли не единственный из философов, кто не написал ни строчки и тем не менее создал несравненное и непревзойденное философское произведение, имя которому — его собственная жизнь.

Жизнь Сократа и философия Сократа неотделимы. И в этом, и во всем остальном Сократ парадоксален и непредсказуем.

Вечный смех Сократа — добрый и злой, простодушный и ковар-

ный, колюче-умный и аморфно-дурацкий — загадочен и непонятен, как загадочна вечная улыбка леонардовской Моны Лизы. Впрочем, лучший, на наш взгляд, портрет Сократа уже написан, и принадлежит он «Платону XX века» А. Ф. Лосеву.

«...Сократ, как и любой софист его времени, — это декадент. Это первый античный декадент, который стал смаковать истину как проблему сознания. Платон — это система, наука, что-то слишком огромное и серьезное, чтобы исчерпать себя в декадентстве. Аристотель — это уже апофеоз научной трезвости и глубокомыслия. Но Сократ — отсутствие всякой системы и науки. Он весь плавает, млеет, сюсюкает, хихикает, залезает в глубину человеческих душ, чтобы потом незаметно выпрыгнуть, как рыба из открытого садка, у которой вы только и успели заметить мгновенно мелькнувший хвост. Сократ — тонкий, насмешливый, причудливый, свирепо-умный, прошедший всякие огни и воды декадент. Около него держи ухо востро.

Трудно понять последние часы жизни Сократа, описанные с такой потрясающей простотой в платоновском «Федоне», а когда начинаешь понимать, становится жутко. Что-то такое знал этот гениальный клоун, чего не знают люди... Да откуда эта легкость, чтобы не сказать легкомыслие, перед чашей с ядом? Сократу, который как раз и хвалится тем, что он знает только о своем незнании, Сократу — все нипочем. Посмеивается себе, да и только. Тут уже потом зарыдали около него даже самые серьезные, а кто-то даже вышел, а он преспокойно и вполне деловито рассуждает, что вот когда окостенение дойдет до сердца, то конец. И больше ничего.

Жуткий человек! Холод разума и декадентская возбужденность ощущений сливались в нем в одно великое, поражающее, захватывающее, даже величественное и трагическое, но и в смешное, комическое, легкомысленное, порхающее и софистическое.

Сократ — это, может быть, самая волнующая, самая беспокойная проблема из всей истории античной философии».

Сократ родился и умер в Афинах. Все свои 70 лет он безвыездно прожил в этом прекрасном городе, безмерно любил его и называл себя «порождением» и «слугой» Афин. Маленький мир шумной агоры, меняльных лавок, узких кривых улочек, гимнасий и палестр, мастерских оружейников, кожевников, портных, ювелиров — весь этот микрокосм Ойкумены, теснившийся у подножия скалы Акрополя, неотделим от Сократа, как неотделим от него и сам Сократ. Триумф побед афинян над персами и позор поражений от Спарты, грандиозные натурфилософские картины Демокрита и Анаксагора и декадентское разочарование в натурфилософии софистов, жертвенная самоотдача преданного Афинам Перикла и хищническое самонасыщение предавшего Афины Алкивиада — весь этот клубок кризисных противоречий тяжким комом лег на растворенную в Афинах душу Сократа и только ту же затянулся и перепутался в ней, сообщил ей граничащую с божественностью и юродством прозорливость и кликушество. Ибо трудно одной человеческой душе вместить в се-

бя все радости и невзгоды, взлеты и падения, озарения и разочарования всего большого города.

Сократ родился в 470 или 469 г. до н.э. в пригороде Афин Алопеке, что в получасе ходьбы от Акрополя. Отец Сократа Софроникс был то ли первоклассным каменотесом, то ли захудалым скульптором, никак не связанным с мастерскими Фидия, Поликлета и других прославленных афинских ваятелей. Мать Сократа Фенарета была повивальной бабкой, по-нашему, акушеркой.

Сократ не перенял ремесло отца, хотя и мог бы преуспеть на этом поприще. Древние хроники сообщают, что он изваял группу харит, которые долгое время украшали вход на Акрополь, по крайней мере до II в. н.э. Тем более не мог юный афинянин подвизаться на поприще своей матери. Однако обе родительские профессии, как это ни парадоксально, оказали заметное влияние на мудреца. От отца Сократ научился угадывать в бесформенной глыбе мрамора абрис будущей скульптуры, смело отсекал ненужные куски камня, заботливо доводить проступивший контур до совершенной линии. Все эти отцовские приемы Сократ виртуозно применял в своей философии, сообщая мысли отточенность мрамора.

Но как могло пригодиться Сократу искусство родовспоможения, которым владела его мать Фенарета? Пусть лучше об этом расскажет сам Сократ. Вот в диалоге Платона «Теэтет» Сократ беседует с юным Теэтетом — будущим знаменитым математиком, автором теории иррациональных чисел. Загнанный Сократовой логикой в тупик, Теэтет бьется, как муха в паутине, а Сократ смотрит на него выпученными паучьими глазами, но не кусает, а, напротив, подбадривает, помогает выпутаться. Сократ не расчищает дорогу юноше, ведь он и сам не знает — или делает вид, что не знает, — этой дороги. Он только подталкивает его, помогает встать на верный путь обретения истины.

«Сократ. Твои муки происходят оттого, что ты не пуст, милый Теэтет, а скорее тяжел.

Теэтет. Не знаю, Сократ. Но я рассказываю о том, что испытываю.

Сократ. Забавно слушать тебя. А не слышал ли ты, что я сын повитухи — очень почтенной и строгой повитухи, Фенареты?

Теэтет. Это я слышал.

Сократ. А не слышал ли ты, что и я промышляю тем же ремеслом?

Теэтет. Нет, никогда.

Сократ. Знай же, что это так, но только не выдавай меня никому. Ведь я, друг мой, это свое искусство скрываю... В моем повивальном искусстве почти все так же, как и у них, — отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве — то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод».

Итак, двигаясь вместе со своим собеседником шаг за шагом в лабиринтах мысли, Сократ помогал рождению истины. Это духовное аку-

шерство — излюбленный педагогический прием и основной методологический принцип — Сократ так и называл майевтикой (μαίευτική), т.е. повивальным искусством.

Вопреки легендам, объявлявшим Сократа невежественным и малограмотным самоучкой, который якобы до старости читал по складам, а при письме нашептывал себе вслух, вызывая у окружающих потоки злорадных насмешек, можно с уверенностью сказать, что Сократ, как и многие молодые афиняне его времени, получил достаточное начальное образование. То было прежде всего «мусическое и гимнастическое воспитание». Надо сказать, что ко времени Сократа учение о калокагии — гармонии нравственных и физических начал в человеке — из привилегии отдельных замкнутых обществ типа школы Пифагора переросло в своего рода общенациональную образовательную программу.

«Мусическое воспитание», считавшееся основным средством нравственного воспитания юношества, не ограничивалось только умением играть на флейте и кифаре, пением эпических текстов Гомера и Гесиода, но самое пристальное внимание уделяло теории музыки. Последняя была невозможна без арифметики, геометрии и даже астрономии, ибо земная музыка была для древних лишь отголоском космической музыки сфер. Итак, перед нами полный набор пифагорейской μαθημα — арифметики, геометрии, музыки и астрономии, которая ко времени Сократа сформировалась как начальный курс образования, а чуть позже была закреплена как образовательная система в VII книге «Государства» Платона. Трудно предположить, чтобы столь одаренная личность, как Сократ, могла пройти мимо этой системы.

Однако Сократ никогда не считал обретение и приумножение знаний самоцелью. Истинный афинянин, он не мог оставаться равнодушным к заботам родного полиса. И хотя Сократ старался избегать участия в государственных делах, он не допускал и мысли об уклонении от общественно-политической жизни города, тем более от воинского долга. Доподлинно известно, что Сократ принимал участие в трех военных кампаниях в качестве гоплита, тяжеловооруженного пехотинца, и проявил себя отважным и выносливым воином.

В 432 г. до н.э., за год до начала Пелопоннесской войны, 38-летний Сократ участвовал в походе против Потидеи, которая объявила о своем выходе из Афинского союза. В сражении под стенами Потидеи, когда афинянам пришлось отступать, Сократ вынес с поля боя раненого друга Алкивиада и позаботился о спасении его оружия. Позже Алкивиад вспоминал: «А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ: не захотев бросить меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, — тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, — но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильнее, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя» (Платон. «Пир»).

Осада Потидеи растянулась на три года, в течение которых армия афинян терпела многие лишения. В том же «Пире» Алкивиад рассказывает о Сократе: «Начну с того, что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезанными и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой... Точно так же и зимний холод — а зимы там жестокие — он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие, обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними...»

Невзгоды походной жизни не мешали философским размышлениям Сократа. В любой обстановке мудрец умел «отключиться» от внешнего мира и целиком уйти в собственные раздумья. «Как-то утром, — рассказывает Алкивиад, — он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы — дело было летом — вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел».

В 424 г. до н.э., когда Сократу было уже 46, он участвовал в битве при Делии на аттико-беотийской границе. Войско афинян было разбито и беспорядочно отступало. Командовавший афинянами полководец Лахет впоследствии признавался, что Сократ «делает честь не только своему отцу, но и своей родине. Во время бегства из-под Делии он отступал вместе со мною, и говорю тебе: если бы другие держались так, как он, наш город тогда устоял бы и не пал столь бесславно» (Платон. «Лахет»). Алкивиад добавляет, что самообладание у Сократа было значительно выше, чем у Лахета. Он восхищается тем спокойствием, с каким отступал Сократ, «так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя». Еще через два года, в 422 г. до н.э., Сократ участвовал в битве при Амфиполе.

Как видим, Сократ не прятался от войны ни в государственных собраниях, ни в тыловых присутствиях. Только после 50-ти он позволил себе отойти от ратных дел и целиком посвятить себя философии. С полей сражений мудрец навсегда перебирается на афинские переулки и площади. Теперь Афины немыслимы без этого баламута и балагура, который выныривал то в одном месте города, то в другом и вступал в беседу со всяким, кто появлялся на его пути. Как говорили афиняне, Сократ стал украшением города, словно фазан или павлин.

Именно в этот период и сформировался образ афинского мудреца, который сохранился затем навечно.

«Кто не знает этой крепкой, приземистой фигуры с отвисшим животом и заплывшим коротким затылком? Всмотритесь в это мудрое и ухмыляющееся лицо, в эти торчащие, как бы навывкате глаза, смотревшие вполне по-бычачьи, в этот плоский и широкий, но вздернутый нос, в эти толстые губы, в этот огромный нависший лоб со знаменитой классической шишкой, в эту плешь по всей голове... Да подлинно ли это человек? Это какая-то сплошная комическая маска, это какая-то карикатура на человека и грека, это вырождение...» Так живописует Сократа А.Ф.Лосев, и это не художественный портрет, а скорее документальная фотография, воссозданная на основе античных источников.

Действительно, внешний облик Сократа мог шокировать каждого. Тем более он был отталкивающим для древнего грека, боготворившего красоту линий человеческого тела. Какая уж тут калокагатия, какой идеал красоты, какой «Дискобол» или «Дорифор»! Но Сократ соткан из парадоксов. За его уродливой внешностью скрывалась гармония и красота внутренних помыслов, за шутовскими вопросами — плоды долгих и напряженных раздумий, за непритязательной жизнью тела — великие устремления духа.

Двуликость Сократа — главная его загадка. Еще в начале IV в. до н.э. платоновский Алкивиад пытается разгадать эту загадку, сравнивая Сократа с полой фигуркой божка Силена. С виду Силен забавен — он курнос, толстогуб, с хвостом, копытами и глазами навывкате, но внутри него греки хранили священные изображения. Но так же и Сократ « всю жизнь морочит людей притворным уничижением », но если вам посчастливится увидеть таящиеся в нем изваяния, то они покажутся вам « божественными, золотыми, прекрасными и удивительными ». « Если послушать Сократа, — говорит Алкивиад, — то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру такого наглеца-сатира... Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что эти речи божественны ».

Но и через 24 столетия, в конце XX в., та же загадка Сократа не дает покоя его духовным наследникам. « Эта двуликость Сократа, — пишет А. Мень, — многих сбивала и доныне сбивает с толку, а ведь именно в ней можно видеть ключ к пониманию личности философа. Не заставляло ли его надевать личину простачка, играть комедию, почти юродствовать какое-то особое целомудрие и скрытность? Быть может, ирония и неумная говорливость помогали ему оберегать тайный огонь души? »

Разгадку двуликости Сократа, « доходящую в некоторых пунктах до чудовищных размеров », А.Ф. Лосев видит в переходном характере его времени, в устрашающей путанице старого и нового, характерной для идущего к гибели классического полиса. Нам представляется, что и сама внешность Сократа решающим образом определяла характер его

поведения. Мудрый Сократ, способный адекватно оценить свою наружность, прекрасно понимал, что его внешность сатира никак не вяжется с обликом степенного мудреца. Отсюда его кривлянье, простоватость и даже придурковатость речи и — как удар молнии — чеканная логика мысли. Трудно представить, чтобы сократовскую маску кривляки надел полный внешнего достоинства и благородства Платон. В целом же все вместе — и кризисные противоречия эпохи, и болезненно-обнаженная внутренняя целомудренность и ранимость Сократа, и его сатиropодобная внешность — переплелось в микрокосме мудреца в немыслимый клубок противоречий и вылепило его неповторимый облик.

Семейная жизнь Сократа протекала под тем же грустно-смешным знаком трагикомедии. Имя жены Сократа Ксантиппы стало нарицательным, обозначая злую и сварливую фурию, терроризирующую безропотного мужа. Столь «благодатная» тема на все лады перепевалась античными сказителями. Диоген Лаэртский рассказывает, как однажды Сократ явился домой в компании своих почитателей. Новые друзья, а их число Ксантиппа вряд ли успевала фиксировать, расположились в прохладной тени внутреннего двора под окнами дома. Очевидно, Сократ слабо реагировал на призывы Ксантиппы заняться домашними делами, и тогда жар философской дискуссии она охладила ведром воды. «Так я и говорил, — молвил Сократ, — у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь».

Конечно, вспыльчивая и гневливая, как и все гречанки, Ксантиппа вряд ли утруждала себя сдерживанием своих эмоций. Но надо войти в положение матери троих детей, загнанной беспросветной нуждой, тогда как муж ее вечно слонялся по афинским улицам. Сократ, безуслов-



но, сознавал свою вину перед Ксантиппой, и его отношение к жене никогда не переступало снисходительно-нежной иронии. Поэтому один раз, когда Ксантиппа в порыве гнева стала рвать на Сократе плащ прямо на рыночной площади, а друзья советовали ему ответить тем же, мудрец сказал: «Зачем! Чтобы мы лупили друг друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! Так его, Ксантиппа!”?» В другой раз он заметил, что сварливая жена для него — то же, что норовистые кони для наездников: «Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми». В третий раз... впрочем, достаточно.

Так что понять Ксантиппу легко. И легче всего это было сделать мудрому Сократу. Но не отношениями ли Ксантиппы и Сократа были продиктованы слова софиста Калликла, обращенные им в платоновском диалоге «Горгий» к афинскому мудрецу: «Да, разумеется, есть своя прелесть и у философии, если заниматься ею умеренно и в молодом возрасте; но стоит задержаться на ней дольше чем следует, и она — погибель для человека!»?

Возможно, несмотря на софистический цинизм, слова Калликла и верны. Но Сократ, истовый рыцарь истины, не мыслил своей жизни вне служения истине и шел напролом навстречу своей гибели. И здесь его не могло остановить ничто — ни чаша с ядом, ни банальные уличные тумачи. Тот же Диоген рассказывает: «Так как в спорах он был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили; но он принимал все это, не противясь. Однажды, даже получив пинок, он и это стерпел, а когда кто-то подивился, он ответил: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?»

Надо сказать, что сами по себе уличные философские беседы и даже потасовки не были чем-то необычным для Афин того времени, как это может показаться сегодня. Древние греки были открытыми людьми: они постоянно беседовали, спорили, обменивались новостями, острили, а их менталитет был пропитан духом соревновательности. В Древней Элладе соревновались все во всем и всю жизнь: в беге, метании диска и копья, борьбе, пении, красоте, игре на кифаре, декламации от общегреческих Олимпийских, Истмийских, Пифийских игр до бесчисленных местных состязаний и вплоть до ежедневных уличных поединков. Страсть к острословию стала едва ли не национальной болезнью афинян, которая поразила не только праздных аристократов, но и деловых ремесленников и даже рабов. Так что «уличная философия» Сократа не воспринималась как сумасшествие — она была естественной и даже желанной.

Уличные беседы того времени были и своеобразными открытыми школьными уроками, ведь обучение в массе своей шло не через учебники, а через непосредственное общение учителя и ученика. Сократ же вообще отвергал письменность как средство обучения, предпочитая живой диалог записанному монологу. Письменность, считал Сократ, делает знание мертвым и мешает глубокому усвоению материала.

«В этом, Федр, — говорит Сократ в платоновском диалоге «Федр», — дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же».

Любопытно, что согласно легенде задолго до Сократа ту же мысль высказывал фараон Тамус богу Тоту — изобретателю древнеегипетской письменности. Оценивая письма Тота, Тамус говорил: «В души научившихся им они (письмена. — *А.В.*) вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя многое будут знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми, трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых». Конечно, роль письменности в истории культуры трудно переоценить, но толпы сегодняшних «мнимомудрых» свидетельствуют о поразительной прозорливости Тамуса. Можно только сожалеть, что в наш век индустриализации всего и вся «штучное» обучение ученика учителем, диалог учителя с учеником становятся все более недоступными.

О чем же беседовал с афинянами Сократ — этот босоногий фавн в потрепанном плаще, который появлялся на агоре с открытием городских ворот вместе с торговцами, бродил по их бесконечным рядам и искренне восклицал: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить!»? Чаше всего беседа могла начинаться так, как это рисует Ксенофонт:

— Скажи мне, Евтидем, в Дельфы ты когда-нибудь ходил?

— Даже два раза.

— Заметил ли ты на храме где-то надпись: «Познай самого себя»?

— Да.

— Что же, к этой надписи ты отнесся безразлично или обратил на нее внимание и попробовал наблюдать, что ты собою представляешь?

— Конечно, нет, клянусь Зевсом, я воображал, что это-то уж вполне знаю: едва ли я знал бы что-нибудь еще, если бы не знал даже самого себя».

Вот тут-то Сократ и высказывал из своей засады. Через два-три встречных вопроса собеседнику становилось ясно, что познать самого себя не так-то просто: с каждым шагом, который, казалось, должен стать последним на пути к цели, открывались все новые горизонты, а клубок вопросов рос, как снежный ком. Сегодня, по прошествии 24 веков, отчетливо видно, что самопознание — сложнейшая философская проблема, уходящая, как и всякая истинно философская проблема, в бесконечность. Не зря на исходе XX в. полуслепой 90-летний мудрец А.Ф. Лосев на вопрос, что самое глав-

ное в философии, без раздумий ответил: «ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ — ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ».

Познай самого себя — альфа и омега всей сократовской философии. Если софисты только наметили поворот от натурфилософии к человеку, то Сократ его решительным образом осуществил. Ни один из мудрецов Эллады, кроме Сократа, не делал самопознание основной целью и руководящим принципом своего учения. Какой толк, считал Сократ, рассуждать о движении звезд, о загадках блуждающих звезд — планет, о тайнах первовещества и первоэлементов, о пространстве, времени, атомах и гармонии сфер, как это делали натурфилософы, начиная с Фалеса, если твое собственное «я» для тебя остается загадкой? Человек, а не природа, — вот кредо сократовской философии.

Конечно, самоограничение на самопознание обедняло и сократовскую философию, и самого Сократа. Любопытно, что, когда едва ли не единственный раз в своей жизни Сократ оказался на природе, он с детским восторгом воскликнул: «Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся, тенистая верба великолепна...» Когда же его проводник Федр заметил, что он говорит, будто чужестранец, а ведь они только вышли за городскую стену Афин, Сократ ответил: «Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе». Но с другой стороны (как говорят софисты), в своем самоограничении Сократ был прав, ибо тема познания человека столь обширна, что на нее не хватило даже Сократовой жизни.

В чем же видел Сократ цель самопознания? Познать самого себя — значило для Сократа познать внутренний мир человека, заботиться о его духовном здоровье, достичь гармонии внутренних сил человека и его внешней деятельности, принять нормы нравственного поведения как высшее благо и высшую добродетель. «Ведь я только и делаю, — скажет Сократ на суде, — что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше».

Итак, главная цель самопознания, по Сократу, состоит в раскрытии добродетелей человека и, как итог самопознания, в достижении человеком высшего блага. «Аρεте» (*аретη*) — добродетель и «агафон» (*αγαθον*) — благо — вот ключевые слова сократовского самопознания. *Через добродетель к благу* — девиз самопознания. Казалось бы, все просто и ясно. Но что есть добродетель и что есть благо? Ответ на этот вопрос растянулся на тысячелетия. Его и сегодня ищут и философия, и религия, и наука о нравственности — этика, основоположником которой по праву считается Сократ.

Однако оптимисту Сократу кажется, что он находит ответ на вопрос, что есть добродетель, и таким образом указывает путь к высшему благу. Дитя своего времени, открывшего миру могущество человеческого разума, заложившего фундамент всего последующего знания,

Сократ не мог не уверовать в торжество разума в природе человека. Поэтому Сократ считает разум главным проводником добродетели и объявляет свой знаменитый тезис: *добродетель есть знание*.

Наставляя человека на путь добродетели, Сократ не вещает, подобно Пифагору, и не увещевает, как будущие христианские моралисты, а рассуждает. К добродетели Сократ подходит с чисто рациональных позиций. Добродетели, считает Сократ, можно и нужно учить, ибо пороки человека проистекают от невежества и незнания. Зло — результат незнания Добра. Зная, что есть Добро, человек не сможет творить зло.

Сегодня, когда накоплены горы смертоносного оружия, когда человечество содрогается от экологических катастроф, тезис Сократа «добродетель есть знание» представляется слишком наивным. Но Сократ прозорливо увидел неразрывную связь между знанием и добродетелью. Сегодняшнее сатанинское знание, оторванное от идеалов добра, является страшным доказательством пагубности такого разрыва. Вот почему вслед за изобретением ядерного оружия мощным набатом зазвучал сегодня и голос его изобретателей — Эйнштейна, Оппенгеймера, Сахарова, которые пронзительно остро ощутили, что знание без добродетели ведет мир к пропасти. За два с лишним тысячелетия акценты в сократовской цепи знание-добродетель сместились на противоположные. Если для Сократа знание оплодотворяет добродетель, то сегодня чрезвычайно важно, чтобы добродетель гуманизировала знание.

Конечно, для того чтобы заметить, что добродетель не сводится к знанию, вовсе не обязательно было выпускать ядерного джинна из бутылки. Истинная мудрость и заключается в том, чтобы видеть следствия, не прибегая к экспериментам. Но ни одному мудрецу, кроме Бога, в своих прозрениях недоступна абсолютная истина. Поэтому сколько мудрецов, столько и истин, но истин не абсолютных, а локальных, ограниченных и во времени, и в духовном пространстве. Уже Аристотель подверг критике попытки Сократа построить на разуме универсальную этику. Аристотель справедливо возражал Сократу, что иметь знание о добре и зле и применять это знание — не одно и то же. Люди порочные прекрасно знают, что есть добро и что есть зло, и тем не менее игнорируют это знание. Люди слабовольные также имеют знание о добре и зле и также пренебрегают им по своему безволию. Выход из «этического тупика» Аристотель видел в воспитании человека, в привитии ему с детства этических добродетелей. Но и эта истина Аристотеля относительна. Памятуя об Александре Великом, воспитаннике Аристотеля, вряд ли можно сказать, что последний преуспел в воплощении своей теории. Опыт последующих поколений также не дал ощутимых результатов.

Считая знание основой всех добродетелей, Сократ особое внимание уделяет самому процессу обретения знания. Так возникает знаменитый *сократовский метод*, который сегодня можно назвать методом субъективной диалектики. Противопоставляя себя натурфилософам, Сократ явился их преемником в диалектике. Он воспринял идущий от

Гераклита диалектический метод и применил его к совершенно новой стихии — миру человека и человеческого мышления. Сократ довел до совершенства искусство сталкивания в спорах противоположных суждений, видения объекта в его противоречивости и многосторонности, восхождения от единичного факта к обобщающему понятию.

Обобщающее понятие или определение — главная цель сократовского метода. Сократ первым осознал, что если нет понятия, то нет и знания, и таким образом первым вывел знание на уровень обобщающих понятий. Диалектика в понимании Сократа есть способ установления точных обобщающих понятий, определяющих «сущность вещи». Если собеседник Сократа не может дать определения добродетели, значит, он не знает, что это такое.

Сократ указывает и метод, каким можно достичь обобщающих понятий. Это индукция — восхождение от частного к общему — или «эпагогия» (ἐπαγωγή) — наведение. По диалогам Платона видно, сколь мастерски владел эпагогией Сократ. Вначале без особых усилий устанавливалось какое-либо предварительное определение. Затем обнаруживалось, что оно не охватывает весь предмет обсуждения, а лишь отдельные его свойства. Далее рассматривается противоположный случай, помогающий подняться на новую ступеньку в определении. Затем обнаруживаются его новые дефекты, проводятся новые рассмотрения и — шаг еще на одну ступеньку. И так далее.

Индукция-«наведение» и обобщающие понятия — важнейшие рычаги сократовского метода, которые быстро получили широкое распространение. Уже через полвека после смерти Сократа Аристотель писал в «Метафизике»: «Две вещи можно по справедливости приписывать Сократу — доказательства через наведение и общие определения: и то и другое касается начала знания».

Метод Сократа обладает еще одной яркой отличительной чертой, придающей ему ни с чем не сравнимое обаяние. Это знаменитая ирония Сократа, по существу, особый метод ведения диалога и поиска общих определений. Прикинувшись простачком, Сократ скромно спрашивает собеседника о предмете, который по роду деятельности последнего должен быть ему хорошо известен. Простак-собеседник начинает с жаром поучать Сократа. Тот заманивает его дальше, но с каждым шагом самоуверенность собеседника падает, а ирония Сократа нарастает. Наконец собеседник сдается. «Я, Сократ, — говорит Менон в носящем его имя диалоге Платона, — еще до встречи с тобой слышал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница... Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она вообще такое».

Итак, собеседник обезоружен. Застилающая глаза самоуверенность выбита у него. Теперь с ним можно спокойно и серьезно подбираться к истине. Но Сократ не торопится поучать, давать готовые рецеп-

ты. Он все время повторяет, что знает только то, что ничего не знает. Значит, собеседник сам должен выбраться из подготовленной Сократом ловушки, сам подойти к истине, родить необходимое определение. Это и есть *майевтика* — духовное акушерство — еще один из излюбленных приемов сократовского метода.

«Я знаю, что я ничего не знаю» и «Познай самого себя» — два столпа сократовской философии. Но откуда взялся у Сократа этот чисто софистический парадокс, совмещающий в себе два взаимно противоположных высказывания: «я знаю» и «я ничего не знаю»? Что, собственно, хотел сказать этим Сократ? История происхождения крылатого афоризма Сократа помогает понять его смысл.

Некто Херефонт, друг и ученик Сократа, однажды в Дельфах спросил пифию, есть ли кто на свете мудрее Сократа. «Никого нет мудрее», — гласил ответ пророчицы. Узнавший об этом Сократ был сильно смущен ответом дельфийской прорицательницы, вещавшей от имени Бога. «Услышав это, — признается Сократ, — стал я размышлять сам с собою таким образом: что бы такое Бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым».

И вот Сократ решил опровергнуть прорицание пифии. Он обращается к людям, слывающим мудрыми, но после общения с ними, к своему удивлению, находит, что те, кто пользуется самой большой славой, на поверку оказываются чуть ли не самыми бедными разумом. Уходя от одного из таких мудрецов, Сократ замечает: «Этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю». В итоге, посетив политиков, поэтов, ремесленников и много другого люда, Сократ приходит к заключению, что высшая мудрость есть только удел Божества. Пифия же хотела только сказать: «Из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость». Все это так. И все-таки вдумаемся.

Я знаю, что я ничего не знаю. Вряд ли Сократ был до конца искренен в своем знаменитом признании. Да и можно ли быть искренним в очевидном парадоксе? Grimаса сократовской усмешки прячется за каждым словом его изречения. Да и само испытание, вызванное словами пифии, — не благовидный ли это предлог для бесконечных насмешек, уличений в невежестве, развенчиваний? Год от года сократовские «испытания» становились все несноснее. Он с моцартианской легкостью бросался на агоре ехидной мудростью, вызывая зависть и раздражение у записных мудрецов. Моцарта отравил завистник Сальери. Сократа также заставили выпить чашу с ядом окружавшие его завистники-«мудрецы».

«Его улыбки, — пишет А. Ф. Лосев, — приводили в бешенство, его с виду нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая ирония нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, смешной

и страшный синтез бога и козла. Его нельзя раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого язвительного, ничем непобедимого, для большинства даже просто отвратительного старикашку можно было только убить. Его и убили». Кольцо врагов вокруг Сократа ширилось и уплотнялось. И Сократ сам, будто нарочно, стягивал его изнутри.

Обстановка в Афинах того времени также не располагала к благодушным пикировкам. В апреле 404 г. до н.э. Афины, осажденные с суши и моря, капитулировали перед Спартой. Тридцатилетняя Пелопоннесская война закончилась для Афин катастрофой. Под звуки спартанского военного марша были разрушены стены Афин. Великий полис, еще недавно считавший себя венцом Эллады, был поставлен на колени. Афины вступили в полосу бедствий и унижений. Бедствующий же народ всегда ищет виновного, и ему всегда охотно на виновного указывают. Тут-то Сократ и оказался как нельзя более кстати.

Сократ давно уже раздражал власти своей независимостью. В 406 г. до н.э. афинский флот одержал победу при Аргинусских островах, но разыгравшаяся буря помешала афинским стратегам спасти тонущих и похоронить убитых. Для греков то было страшным преступлением. Победителей судили и приговорили к смертной казни. Единственным пританом в Совете пятисот, который голосовал против скоропалительной расправы над стратегами, был Сократ. Все восемь осужденных были казнены, а Сократ сам едва избежал тюрьмы.

В 404 г. до н.э. Сократ выступил против террора, развязанного в Афинах его бывшим учеником Критием. С падением Афин Критий возглавил совет «тридцати тиранов», который, опираясь на спартанский гарнизон, залил город волною кровавых расправ. Сократ публично высказался о политике своего ученика: «Странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставши пастухом стада коров и уменьшая число и качество коров, не признавал себя плохим пастухом; но еще страннее, что человек, ставши правителем государства и уменьшая число и качество граждан, не стыдится этого и не считает себя плохим правителем государства». В ответ Критий запретил Сократу «портить молодежь» такими речами и прозрачно намекнул, что иначе мудрец и сам окажется среди убывающих коров.

Короче говоря, почва была подготовлена, негласные санкции розданы, а скоро нашлись и конкретные исполнители. То были стратег Анит, бывший кожевенник, оратор Ликон и некто Мелет — средненький поэт, но тщеславный интриган. Мелет подал в афинский суд заявление: «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софроникса из Алопеки: Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то — смерть».

Настал конец мая 399 г. до н.э. Час суда пробил. Слуги приготовили одиннадцать клепсидр — амфор, из которых по капле вытекает во-

да. За это время (около 10 часов) 501 гелиаст должен выслушать обвинение, защиту и вынести приговор. Одна из клепсидр принадлежит Сократу. Как-то распорядится мудрец залитым в нее временем?

Начал Мелет. Как это часто бывает, он обвинил Сократа в том, чего и вовсе не было — в изучении небесных явлений. Он приписал Сократу Анаксагоровы воззрения на небесные тела и, конечно, обвинил в непочитании богов. Далее Мелет объявил, что Сократ учит молодежь «делать слабый довод сильным» и тем самым развращает ее. Да и кто ученики Сократа? Не предатель ли Алкивиад и не кровавый ли тиран Критий? Сократ мудр, но мудрость его тлетворна. Она развращает молодежь, которая вслед за этим старым сатиром начинает осмеивать авторитеты.

Наступает очередь Сократа. Он нехотя и вяло начинает свою речь. Он говорит, что защищается только потому, что этого требует закон. Он не готовит своей апологии — речи защиты на суде, сказав ученикам: «А разве вся моя жизнь не была подготовкой к защите?» Он отказывается от апологии верного ученика Лисия: «Отличная у тебя речь, Лисий, да она мне не к лицу». Еще ранее он отвергает тайное предложение Анита удалиться из Афин до суда и тем самым разрешить конфликт. Нет, Сократ упрямо и будто умышленно идет навстречу своей смерти. Он словно решил про себя, что, если он не смог вразумить афинян своей жизнью, он должен это сделать своею смертью — единственным сверхчеловеческим оружием, оставшимся в его арсенале.

Сократ не лавирует, не заискивает, не суетится. Он с усмешкой держит свою речь, будто речь идет не о его жизни, а о совсем постороннем предмете. Он заявляет, что не видит ничего предосудительного в занятиях натурфилософией, но — и тому есть немало свидетелей, и даже среди судей — сам-то он никогда и не занимался изучением природы. Он считает полезным делом воспитание и обучение молодежи, но сам-то он никакой не софист, ибо платы за обучение никогда не брал, да и в роли штатного учителя никогда не выступал. Сократ спокоен и, кажется, безразличен к своей судьбе.

Но в одном Сократ остается тверд и неизменен в своей апологии. «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее Бога, чем вас, и пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать... Могу вас уверить, что так велит Бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение Богу... послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз». Голос Сократа тверд. Его слова бесстрастно срываются с уст и падают в зал, будто капли воды из клепсидры.

То был вызов. Суд загудел, но Сократ не слышит ропот и продолжает подливать масло в огонь. «Таким образом, афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудив меня на смерть, не лишиться дара, который вы получили от Бога. Ведь если вы меня казните, вам нелегко будет найти

еще такого человека, который попросту — хоть и смешно сказать — приставлен Богом к нашему городу, как к коню, большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-нибудь овод... Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, внезапно разбуженные от сна, прихлопнете меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную жизнь проведете в спячке, если только Бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь».

Зал взорвался от возмущения. Отчаявшиеся ученики пытаются спасти положение. Юный Платон выбегает на трибуну, стараясь перекричать толпу. В глазах его слезы, но слова тонут среди негодующих криков.

Тем не менее только тридцать голосов перетягивают весы Фемиды в сторону смертной казни: 280 гелиастов проголосовали за смерть, 221 — против. Для получения оправдательного приговора необходимо было иметь минимум 251 голос из 501. Но еще не все потеряно. Судьба вновь отдается в руки Сократа, ведь по закону Афин гелия должна избрать одно из двух наказаний: либо то, что потребовало обвинение, либо то, что предложит себе сам обвиняемый. Еще одно слово остается за Сократом.

Но боги, что говорит этот безумец! Лучше бы он отдал свое слово ученикам! Сократ обращается к председательствующему Аниту: «Этот человек требует для меня смерти. Пусть так. А что, афиняне, назначил бы я себе сам? Очевидно, то, чего заслуживаю. Так что же именно?.. Чего-нибудь хорошего, афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого, что мне пришлось бы кстати. Что же кстати человеку заслуженному, но бедному, который нуждается в досуге для вашего же назидания? Для подобного человека, афиняне, нет ничего более подходящего, как обед в Пританее!»

Это уже было откровенной издевкой. Осужденный на казнь вместо наказания предлагает себе высокую награду — почетный обед в Пританее, коим удостаивают только олимпийских чемпионов — любимцев богов! Оглушительную тишину сменил невообразимый крик. Второй тур голосования высказался за смертную казнь большинством уже в 80 человек.

Друзья и ученики Сократа в отчаянии. Дело проиграно. Но Сократа это нисколько не интересует. Он в третий раз обращается к судьям. На сей раз уже с пророчеством: «Мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Ведь для меня уже настало то время, когда люди бывают особенно способны к прорицаниям, — тогда, когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали. Сейчас, совершив это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное: больше появится у вас обличителей — я до сих пор их сдерживал. Они будут тем тягостней, чем они моложе». Кольцо преданных учеников вокруг Сократа служило лучшим доказа-

тельством справедливости его слов. Лучше других это видел сам Анит, чей сын составлял часть Сократова кольца.

Суд окончен. «Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога». С этими словами Сократ покинул зал. Он спокоен, и шаг его тверд. По дороге он обращается к плачущим ученикам:

— Что это? Вы плачете? Да разве вы только теперь узнали, что с самого рождения я осужден природой на смерть?

— Но мне особенно тяжело, что ты осужден на смерть несправедливо, — сказал один из его учеников.

— А тебе, дорогой мой Аполлодор, приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо? — улыбнулся в ответ мудрец.

Обычно приговор суда исполнялся на следующий день. Но на этот раз казнь отложили, ибо начались Делии — один из древнейших афинских праздников. На Делии легендарный афинский герой Тесей победил на Крите чудовище Минотавра и избавил Афины от ежегодной позорной дани, когда на съедение чудовищу посылали семь юношей и семь девушек. Помогли в этом подвиге Тесею бог Аполлон и дочь критского царя Ариадна. Поэтому, исполняя клятву Тесея, и отправляли афиняне на остров Делос к главному храму Аполлона священное судно с дарами. Со дня отплытия судна и до его возвращения смертная казнь в Афинах запрещалась.

Так судьба подарила мудрецу еще 30 дней жизни. По Афинам ходили слухи, что суд над Сократом и Делии совпали не случайно, что это бог Аполлон, хотя и гневается на философа за дерзость, но все-таки не хочет его смерти, дает возможность мудрецу замолить свою вину перед богами. Поговаривали и о том, что готовится побег мудреца и что никто не хочет этому мешать — ни стража, ни власти, ни боги. Ведь бежали не так давно от смертной казни Анаксагор и Протагор.

Но оставался один человек в Афинах, который твердо противился побегу Сократа. То был сам Сократ. За день до возвращения священного судна с Делоса в камеру мудреца проникает его старый друг Критон. И что же он видит — накануне казни закованный старец спит безмятежным сном младенца! Долго просидел пораженный Критон в изголовье друга, дожидаясь его пробуждения. Он умоляет Сократа согласиться на побег, он взывает к чувствам друзей, которые облекут себя позором, если не спасут учителя. Тщетно. В ответ Сократ живописует Критону скорую встречу в Аиде с Гомером и другими великими эллинами.

Но все имеет свой конец. В порту появился корабль, украшенный венками, а значит, последний час Сократа пробил. Слуги увели рыдающую Ксантиппу и детей. Осталось только десять ближайших учеников. Но не было среди них Платона — от непосильных переживаний юноша слег. С осужденного сняли цепи, и он с удовольствием растер ноги.

Настал вечер, и перед заходом солнца принесли чашу с цикутой. Завидев палача, Сократ обратился к нему:

— Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком — что же мне надо делать?

— Да ничего, — ответил тот, — просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само.

Он протянул чашу. И Сократ взял ее — не дрогнув, не побледнев, не изменившись в лице — и поднес к губам.

«До сих пор большинство из нас еще как-то удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержаться. У меня самого, как я ни крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя — да! не его я оплакивал, но собственное горе — потерю такого друга! Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А Сократ промолвил:

— Ну что вы, что вы, чудаки! Я для того главным образом и отослал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, — ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя!

И мы застыдились и перестали плакать.

Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени и спустя немного — еще раз. Потом сильно стиснул ему ступни и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После



этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что, когда холод подступит к сердцу, он отойдет.

Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся — он лежал, закутавшись, — и сказал (это были его последние слова):

— Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте.

— Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?

Но на этот вопрос ответа уже не было».

Так рассказал о смерти Сократа его ученик Федон в одноименном платоновском диалоге. Но что в эти минуты переживал сам Сократ? Что он хотел сказать своими последними словами? Считал ли он смерть выздоровлением и вызволением для своей души и потому по старому обычаю просил принести в жертву богу врачевания Асклепию петуха? Или снова гримасничал, вновь издевался и над своею смертью, и над доброй традицией, и над плачущими учениками? Этого мы никогда не узнаем.

О чем думал, прощаясь с жизнью, Сократ? Считал ли он жизнь кабалой для души и тела и потому так легко отдавал ее в руки палачу? Считал ли он собственное пребывание в этом мире бессмысленной чередой лет и бесполезной вереницей усилий? Скорее всего, круг преданных учеников ограждал его от таких мыслей, вселял уверенность в нужности своего дела, давал силы для новой иронии и новых сарказмов. Быть может, в последнее мгновение жизни Сократ с гордостью вспомнил свой сон, в котором он выпускал из рук белого лебедя с огромными крыльями. Лебедя того звали Платон.

ПЛАТОН

(427 — 347 до н.э.)



*Победа над самим собой есть
первая и наилучшая из побед.*

Быть может, в последнее мгновение жизни Сократ с гордостью вспомнил свой сон, в котором он выпускал из рук белого лебедя с огромными крыльями. Сократ любил рассказывать этот давний и дивный сон и добавлял, что лебедя того звали Платон.

Платон — самый крупный и самый яркий цветок в венке мудрости Эллады. Но сказать так — значит ничего не сказать о Платоне. Платон не только вершина античной мудрости. Платон высится над всей мировой философией, подобно священному Акрополю, царящему над Афинами. Во все эпохи Платон воспринимался как прекрасная гора Фудзи, вознесшаяся над окружающими ее полями. Так что и в XX веке английский математик и философ Алфред Уайтхед назвал всю западную философию лишь суммой подстрочных примечаний к Платону. Сказанное о Платоне в одном только 1973 г., когда отмечался 2400-летний юбилей философа, составило целую библиотеку. Поэтому рассказ о Платоне естественно начать с того, что говорили о великом великие.

«Творения философов значительно позднейших давно уже пожелтели и высохли, спал их нарядный убор, и стоят перед сознанием оголенные их схемы, как мерзлые деревья зимой. Но живы и будут жить притрепетные Диалоги Платона. И нет такого человека, который хотя бы одно время жизни своей не был платоником. Кто ведь не испытывал, как растут крылья души? Кто не знает, как поднимается она к



непосредственному созерцанию того, что от будничной суеты за-
дернуто серым покровом оболочек?» (Павел Флоренский).

«Имя Платона является не просто известным, значительным или великим. Тонкими и крепкими нитями философия Платона пронизывает не только мировую философию, но и мировую культуру... Греки периода классики и эллинизма; древние римляне; арабские мыслители, оппозиционные исламу; позднеантичный иудаизм и средневековая кабала; византийское православие и римский католицизм; византийские мистики XIV в., подытожившие тысячелетний византизм, и немецкие мистики того же столетия, создавшие прочный мост от средневекового богословия к немецкому идеализму, и прежде всего к Канту; теисты и пантеисты итальянского Возрождения; немецкие гуманисты; французские рационалисты и английские эмпирики; субъективный идеалист Фихте, романтический мифолог Шеллинг, создатель универсальной диалектики категорий Гегель; Шопенгауэр с его учением о мире разумных идей... русские философы-идеалисты вплоть до Владимира Соловьева и Сергея Трубецкого; новейшие немецкие мыслители... математики и физики вплоть до Гейзенберга и Шредингера; бесчисленное количество поэтов и прозаиков, художников и критиков, ученых и дилетантов, творцов, ломающих традицию, и обывателей, трусливо ее защищающих, — все это необозримое множество умов вот уже третье тысячелетие спорит, волнуется, горячится из-за Платона, поет ему дифирамбы или снижает его до уровня обывательской посредственности. Можно сказать, что Платон оказался какой-то вечной проблемой истории человеческой культуры, и пока нельзя себе представить, когда, как, при каких обстоятельствах и кем эта проблема будет окончательно разрешена» (Алексей Лосев).

7 таргелиона (21 мая) 427 г. до н.э., в день рождения на Делосе бога Аполлона, в знатной аристократической семье афинян Аристона и Периктионы родился мальчик, которого в честь деда назвали Аристок-

лом. Аристон происходил из рода последнего афинского царя Кодра, а Периктиона была прямой родственницей афинского мудреца Солона. Если же копнуть дальше, то в родах Аристона и Периктионы, которые в глубине веков сливались, можно было найти аргонавта Периклимена, гомеровского мудреца Нестора, пилосского героя Нелея и, наконец, бога морей Посейдона. Вся история Эллады — ее боги, герои, мудрецы, цари, тираны, олигархи, стратеги, архонты, ораторы, поэты, участники войн и государственных переворотов — была и историей родов Аристона и Периктионы.

Но существовала легенда, и непосредственно возводившая Аристокла к богам. Как рассказывает Диоген Лаэртский, когда Периктиона была еще юной, Аристон «пытался овладеть ею, но безуспешно; и, прекратив свои попытки, он увидел образ Аполлона, после чего сохранял жену в чистоте, пока та не разрешилась младенцем». Так что Аристокл получался «сыном Божьим», недаром он и родился в один день со своим «отцом» Аполлоном, а мудрые пчелы наполняли уста младенца Аристокла медом. Не отсюда ли божественный, сверхчеловеческий дар Аристокла и его сладкозвучные речи? Напомним, что на полторы сотни лет ранее бог Аполлон уже подарил Элладе Пифагора.

Как отпрыск старинной, царского происхождения семьи с прочными аристократическими устоями, Аристокл получил блестящее образование в лучших традициях греческой калокагатии. Чтению и поэтическим искусствам его обучал известный грамматик Дионисий, музыке — Дракон, ученик Дамона, обучавшего самого Перикла, гимнастике — выдающийся борец Аристон. Последний и прозвал юного Аристокла Платоном, т.е. широким, широкоплечим, за его широкую грудь и мощное сложение (от греч. *πλάτος* — ширина). Впрочем, по другой версии, Аристокл был прозван Платоном за свой широкий лоб и ни кем иным, как самим Сократом. Как бы то ни было, но юноша действительно рос широкоплечим атлетом и широко образованным интеллектуалом. Он не только с успехом соревновался в декламации собственных стихов, но и был победителем в борьбе на общегреческих Истмийских играх. Так в круговерти афинских новостей все чаще стало мелькать имя юного аристократа Платона.

Красавицы музы, подруги лучезарного Аполлона, явно покровительствовали юному афинянину. Он с равным успехом занимался живописью и пел в хоре, писал трагедии и пробовал себя в комедиографии, сочинял возвышенные дифирамбы, элегии, изящные эпиграммы. Чуть более двух десятков этих изысканных стихотворных миниатюр сохранились до наших дней и позволяют воочию ощутить чистую, трепетную ауру платоновского мировидения.

Ты на звезды глядишь, о звезда моя! Быть бы мне небом,
Чтоб мириадами глаз мог я глядеть на тебя.

Однако очень скоро безоблачному благополучию юного аристократа пришел неожиданный конец. Платон отбирает у актеров розданную им для репетиций свою трагическую тетraloгию. Он сжигает все свои

поэтические произведения, призывая на помощь даже бога огня Гефеста. Он отворачивается от бесшабашной жизни афинской золотой молодежи и бросает свои честолюбивые мечты о политической карьере. В 407 г. до н.э. двадцатилетний Платон встречается Сократа.

Платон и Сократ являли собой полную противоположность. Платон был молод, Сократ — стар; Платон — богат, Сократ — беден; Платон — аристократически сдержан и замкнут, Сократ — простонародно развязен и общителен; Платон — романтик и поэт, Сократ — прагматик и тяготел к прозе жизни; Платон внушал окружающим почтительное уважение, Сократ — неуважительную любовь. Но именно противоположность в социальном положении и в характере связала Платона и Сократа той неведомой внутренней силой, которой соединяет воедино и два полюса одного магнита. Очень скоро отношения Платона и Сократа из формально уважительной привязанности ученика и учителя переросли в искреннюю любовь сына и отца.

Восемь лет, проведенные Платоном вместе с Сократом, пролетели как один день, и неудивительно, что о них мы почти ничего не знаем. Глядя на Сократа, Платон воочию убеждался в справедливости слов Гераклита о том, что «тайная гармония лучше явной». Тайная, внутренняя сила Сократа перевернула все вверх дном в голове Платона. Беседуя с Платоном, Сократ с отеческой гордостью видел в нем своего истинного духовного наследника, своего лебедя, которого в том вешем сне он выпускал в далекий полет. Незримые нити тайной гармонии накрепко соединяли учителя и ученика. Но скоро, до обидного скоро судьба разорвала их. Вновь в памяти Платона всплывали слова Гераклита: «Не будь Солнца, мы бы не знали, что такое ночь».

Солнце Сократа погасло, и на Платона опустилась гнетущая, непроглядная ночь. Тонкий, чувствительный романтик, Платон не мог перенести варварского, бессмысленного убийства великого мудреца. Выше его сил было находиться рядом с учителем в день казни. И выше его сил было оставаться в городе убийц после свершившейся трагедии. Но и сама восьмидесятилетняя жизнь Платона была, как определил ее А. Ф. Лосев, долгой пятиактной трагедией. И со смертью Сократа закончился ее первый акт.

Осиротевшие ученики Сократа — сократики — тихо разбрелись по всей Ойкумене. Жить в Афинах для последователей казненного мудреца было не только невыносимо, но и небезопасно. Евклид¹ обосновался в родной Мегаре, расположенной в 40 км к западу от Афин. Отсюда он даже во время войны Мегары с Афинами, переодевшись в женское платье, по ночам ходил в Афины пешком слушать Сократа. Евклида и его последователей стали называть мегариками. Аристипп

¹ Евклида из Мегары (ок. 450 — после 369 до н.э.), основателя мегарской философской школы, не следует путать с Евклидом из Александрии (ок. 360 — ок. 300 до н.э.) — первым математиком александрийской школы, основоположником аксиоматического метода в геометрии, автором знаменитых «Начал» в 15 книгах — энциклопедии античной математики.

(? — после 366 до н.э.) поплыл в родную Кирену на побережье Северной Африки и основал там киренскую философскую школу. Аристиппа и его учеников прозвали *киренаиками*. Эсхин¹ подался на Сицилию к сиракузскому тирану Дионисию. Юный Федон, любимец Сократа, которого учитель помог выкупить из рабства, вернулся в родную Элиду и открыл там школу. Ксенофонта (ок. 430 — ок. 355 до н.э.) приняли в Спарте как почетного гостя. Спартанский царь Агесилай жаловал ему имение, где он занимался коневодством и написал свои знаменитые «Воспоминания о Сократе». Антисфен (ок. 455 — ок. 360 до н.э.) обосновался в окрестностях родных Афин в гимнасии Киносарг, отчего учеников Антисфена прозвали *киниками*. Философия кинизма быстро приобрела популярность, а киники разъехались по всей Элладе.

Покинул Афины и Платон. Вначале он перебрался неподалеку, в Мегару. Здесь у Евклида собрались многие еще не оправившиеся от потрясения ученики Сократа. Совместные воспоминания об учителе укрепляют решимость сократиков продолжать дело служения истине. Время залечивает их кровоточащую рану, недавняя катастрофа все чаще кажется лишь страшным сновидением. Скоро друзья разъедутся по всей Ойкумене, и каждый из них изберет свой путь к Истине. Жизнь продолжается.

Возможно, уже в Мегаре Платон делает первые наброски по составлению «Апологии Сократа» и других первых «сократических» диалогов. Сократ становится непрямым участником платоновских диалогов, и чем дальше время отделяет ученика от учителя, тем больше устами Сократа начинает говорить Платон. Сама форма диалога, состоящего из вопросов и ответов, явилась как бы продолжением бесед учителя и ученика. Сам сократовский диалектический метод — искусство ведения беседы, искусство спора, сама сократовская «майевтика» — родовспоможение мысли и сократовская «эпагогия» — наведение мысли в нужное русло определили лицо платоновских диалогов.

Но Платон сделал и нечто большее, чем просто воспринял и перенес на папирус сократовские «диалогические» идеи. Платон превратил диалог в истинную философскую драму и истинную философскую элгию одновременно. Оставив поэзию ради философии, Платон остался поэтом в своих философских диалогах. Хотя бы несколько строк из раннего диалога «Ион», который, возможно, был написан еще при жизни Сократа, убеждают нас в этом: «Говорят же нам поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз. И они говорят правду: поэт —

¹Эсхин смолоду отличался прилежанием, никогда не покидал Сократа, и о нем мудрец говорил: «Только колбасников сын и умеет уважать меня!» Ходили упорные слухи, что после смерти Сократа Ксантиппа отдала Эсхину рукописи мужа и тот опубликовал их, выдав за свои. Когда Эсхин выступал в Мегарах с публичным чтением своих диалогов, Аристипп крикнул ему со смехом: «Откуда это у тебя, разбойник?»

это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда делается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать».

Платон-поэт на протяжении всех диалогов как бы соперничает с Платоном-философом. И хотя Платон-философ, возможно, и побеждает, стиль Платона, как и философия Платона, на все века остается непревзойденным эталоном ведения философского собеседования. Впрочем, о Платоне-стилисте лучше скажет блестящий стилист нашего времени швейцарец Андре Боннар, автор уникального по глубине и яркости трехтомника «Греческая цивилизация»: «Платон пользуется в одно и то же время всеми оттенками стиля с самой естественной непринужденностью. Он переходит от простого к возвышенному с акробатической ловкостью, вызывающей трепет. Двадцать, тридцать раз подряд ученик отвечает «да» на вопросы учителя. От этого вы заскрежетали бы зубами, если бы это было на другом, а не на греческом языке. Но эти двадцать и тридцать раз — другие «да». Полные умолчаний. Иногда они значат почти как наше «несомненно», а иной раз это «да», столь близкое к «нет», что вас пробивает дрожь. Но вот фраза становится длиннее и приходит в движение. Можно сказать, что она начинает танцевать. Встает ветер над пылью слов. Слова кружатся, поднимаются к небу со всевозрастающей скоростью, расширяя орбиту фразы. Куда несет нас волшебник-автор? Мы не знаем. По вертикали к зениту. Мы приблизились к небесному светилу, к Солнцу. Внезапно мы чувствуем, как попадаем в объятия разума и любви».

Но вернемся к самому Платону. Пробыв в Мегарах около года, он вернулся в Афины, но ненадолго. Видимо, убедившись, что отношение к Сократу и сократикам в родном городе нимало не изменилось — а изменять его Платон считал ниже своего достоинства, — он вновь отправляется в путешествия, теперь уже почти на десять лет. Где странствовал Платон все это время, мы в точности не знаем. Предания называют все страны и города Ойкумены, являвшиеся на то время хранителями древней мудрости: Египет, Кирена, Вавилон, Персия, Финикия, Иудея, Великая Греция. Весь этот набор столь же традиционен для начинающего греческого философа (вспомним Солона, Фалеса, Пифагора, Демокрита), сколь и сомнителен. Его нельзя принимать целиком, как нельзя и полностью отвергать. Почти наверняка Платон посетил сократика Аристиппа в Кирене и познакомился там с математиком Феодором. Скорее всего, был Платон и в Египте — тайны жреческой мудрости всегда манили древних греков. Менее вероятно пребывание Платона в Вавилоне, и уж почти невероятно его общение с персидскими «поклонниками огня» зороастрийцами.

Как бы то ни было, но доподлинно известно, что около 390 г. до н.э. Платон появляется в Великой Греции. Прежде всего Платон стремился в Тарент, к знаменитому пифагорейцу Архиту (ок. 428 — 365 до н.э.), который, как свидетельствует Диоген Лаэртский, «вызывал к се-

бе удивление народа по причине своего совершенства во всех отношениях». Математик и механик, философ и музыкант, полководец и крупнейший теоретик музыки, Архит пользовался исключительным уважением в родном Таренте и семь раз избирался там стратегом.

Платон давно хотел познакомиться с пифагорейской философией, что называется, из первых рук, тем более таких «рук», как Архитовы. Его давно влекли пифагорейские идеи вечных, неизменных сущностей: числа как хранителя кода мировой гармонии, метемпсихоза — нескончаемого круговращения живой души. Истина, спрятанная в числе, и дух — вот подлинно бессмертные ипостаси, которые легли в основу вынашиваемой Платоном теории идей. Эти и многие другие — отчасти где-то слышанные, отчасти смутно угадываемые им самим — идеи Платон наконец-то обрел у Архита. Знакомство Платона с Архитом переросло в крепкую дружбу, которая на всю жизнь связала двух великих мудрецов Эллады.

Очевидно также, что Платона влекло к Архиту и то, чего ему не доставало самому: виртуозное владение математикой, редкое умение сочетать научную и государственную деятельность. И то и другое так и осталось для Платона несбывшимся идеалом. Платон боготворил геометрию, но не Платон, а Архит решил знаменитую задачу об удвоении куба¹. Архит был политиком и ученым, Платон так и не смог запрячь в одну узду этих двух строптивых коней. Метание между политикой и философией всю жизнь раздирало надвое душу Платона: как отпрыск царской фамилии, как родственник едва ли не половины выдающихся государственных деятелей Афин, он тяготел к государственной и политической деятельности; как ученик Сократа, он должен был презирать эту по существу фамильную деятельность и целиком отдать себя делу служения Истине.

¹С задачей об удвоении куба, именуемой также делосской проблемой, связана красивая легенда. Однажды на острове Делос вспыхнула чума. Жители острова обратились за советом к Пифии, которая сказала, что нужно удвоить золотой жертвенник богу Аполлону, имеющий форму куба. Простодушные делосцы отлили еще один куб и водрузили его на первый. Однако чума не унималась. Они вновь обратились к пифии, и та сказала, что задача не решена: новый жертвенник имел вдвое больший объем, но не имел формы куба. Не найдя нужного решения, жители Делоса обратились за помощью к Платону. Но Платон не знал, как решить задачу, и потому ограничился назиданием: «Боги недовольны вами за то, что вы мало занимаетесь геометрией». Решил делосскую проблему Архит. Сегодня любой школьник решит делосскую проблему. Она сводится к решению кубического уравнения $x^3 = 2a^3$, откуда $x = \sqrt[3]{2}a$. Это и есть сторона нового куба. Но во времена Архита не знали радикалов, и Архит нашел геометрическое решение задачи. Решение Архита поразительно по своей виртуозности. Это вершина человеческого, а быть может, и божественного озарения! Желющие получить истинное эстетическое наслаждение от решения Архита могут найти его изложение в книге автора «Пифагор: Союз истины, добра и красоты» (М., 1993, 2007).

Желание соединить политику и философию стало для Платона навязчивой идеей. Пример Архита окончательно укрепил его в мысли, что только истинные философы, занявшие государственные должности, либо государственные деятели, ставшие подлинными философами, могут избавить человечество от неисчислимых бед. Таким образом, надежды на социальное переустройство общества Платон неразрывно связал с внутренним преобразованием самого человека. Эта грандиозная идея, точнее страсть к ее воплощению, привела Платона на Сицилию. Людям нашей страны, оценившим на собственном опыте всю утопичность этой красивой идеи, нетрудно догадаться, что и 2400 лет тому назад ничего путного с ее осуществлением у Платона не вышло. Впрочем, лучше бы наши вожди в свое время догадались вспомнить печальный опыт великого мудреца.

Итак, в 389 г. до н.э. Платон появляется в Сиракузах при дворе тамошнего тирана Дионисия Старшего. Почему именно на Дионисии остановил свой выбор Платон? Это дело случая. Скорее всего, в Сиракузы его пригласил родственник Дионисия Дион — пылкий восемнадцатилетний юноша, полный надежд и иллюзий. Возможно, что Архит поддержал Диона — мудрый политик Архит был крайне заинтересован в нейтрализации сильного сицилийского соседа. Жребий был брошен. Платон сел на корабль и вскоре высадился в Сиракузах.

Правитель Сиракуз Дионисий Старший был жесток, коварен, безудержен и тщеславен. Странствующий философ Платон, несмотря на свои 38 лет, был наивен, одержим идеей, а значит, почти слеп. Начало было хорошим. Дионисий, как и через 400 лет Нерон, мнил себя талантливым поэтом и трагиком, и ему льстило общество набравшего силу философа. Платону также импонировало общение с всемогущим тираном, на которого, казалось, вот-вот усилиями философа снизойдет возвышенная благодать.

Однако взаимный интерес очень скоро перерос у собеседников во взаимную неприязнь. Дионисию надоели нескончаемые увещевания философа о высшем долге государственного мужа. Платон устал видеть ежедневное обжорство, переходящее в еженощные оргии. Начались ссоры, обмены колкостями, пока, наконец, раздраженный Дионисий не спросил, зачем, собственно, пожаловал философ в Сиракузы. «Я ищу совершенного человека», — твердо сказал Платон. «Но клянусь богами, ты его не нашел, это вполне ясно», — зло огрызнулся правитель. Философские беседы политика и мудреца закончились.

Зная вероломство тирана, юный Дион, виновник неудавшейся миссии, немедленно отправляет Платона в Афины на корабле спартанского посла Поллида. Но Поллид уже получил тайный приказ от Дионисия убить философа или, еще лучше, продать его в рабство. «Философ должен быть счастлив и в неволе», — злорадно ухмыльнулся Дионисий, памятуя наставления Платона о всеобщем благе.

На подходе к Афинам корабль зашел на остров Эгину, где, согласно одному из преданий, родился Платон. Эгина в то время воевала с Афинами, а значит, каждого афинянина, ступившего на остров, ожи-

дало рабство. Круг замкнулся. Вершилось самое страшное, самое позорное для древнего эллина: в возрасте расцвета — акме, полный сил и творческих планов, на своей родине Платон был выведен на невольничий рынок. Вершился второй акт жизненной трагедии Платона.

По счастью, некто Анникерид, житель Эгины, видел чуть дальше своих земляков. Он немедленно выкупил Платона за 20 или 30 мин и тут же демонстративно отпустил его на свободу. Таким образом, Анникерид стяжал себе славу куда более громкую и долговечную, чем лавры Олимпийского чемпиона в беге колесниц, за которыми он собирался ехать в Олимпию. Правда, существует и другая версия, по которой Платона выкупил из неволи его друг Архит.

Понятно, что, несмотря на скорый happy end, второй акт Платоновой трагедии оставил кровоточащий рубец на сердце философа. С тех пор Платон навсегда погружается в глубокую меланхолию, его широкий лоб чаще всего нахмурен, а могучие плечи безвольно опущены вниз. «Грустен, как Платон» — стало расхожим сравнением в окружении философа. И в то же время трудно понять, как после пережитого, пусть даже скоротечного, позора рабства философ мог индифферентно рассуждать о достоинствах и недостатках рабовладения, как можно было бесстрастно давать в своих диалогах «практические рекомендации» типа: наказывать рабов «по справедливости и не изнеживать их, как свободных людей, увещеваниями». Впрочем, пути души человеческой неисповедимы, так же как и пути Господни.

Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. В 387 г. до н.э. сорокалетний Платон возвращается в Афины. Бирюзовая лазурь, как и двенадцать лет назад, была разлита над городом предков, и божественный Акрополь все так же сверкал в ее бездонной глубине. Отныне Афины на оставшиеся сорок лет должны стать приютом трудов и вдохновений для философа.

Говорят еще, нет хуже без добра. Друзья Платона по сократовскому кружку, прослышав о его злключениях, собрали денег, чтобы с благодарностью возратить их Анникериду. Благородный эгинет отказался, деньги вернулись к Платону, и он купил на них сад с домом на северо-западной окраине города неподалеку от главных Дипилонских ворот. Земля эта, по преданию, была подарена древнему герою Академу легендарным царем Тесеем. Афиняне любили гулять в оливковой роще среди статуй богов и муз этого живописного уголка, ставшего чем-то вроде городского парка и звавшегося ими Академией. Так в 385 г. до н.э. в тени платанов и олив родилась знаменитая философская школа, платоновская Академия, просуществовавшая без малого 1000 лет, до 529 г. н.э. — года конца античности, и закрытая византийским императором Юстинианом как рассадник «языческой лженауки».

Платоновская Академия. Символ мудрости, родник мысли, святилище истины. Здесь, у журчащей речушки Кефиса, Платон обрел наконец спокойствие — то небольшое, что так необходимо философу. Здесь, в самую безоблачную и плодотворную пору своей жизни, он

создал лучшие свои произведения — диалоги «Пир», «Теэтет», «Федр», «Федон», «Государство», «Тимей», «Критий» и др. Отсюда, из этого «Дома муз» — «Мусейона», как называл его Платон, вышли сотни питомцев, украсивших венки мудрости Эллады, от Аристотеля в IV в. до н.э. и до Прокла в V в. н.э.

Поначалу Платон и его ученики довольствовались прогулками и беседами в роще Академа. Затем в старом здании бывшего гимнасия разместилась школа, а в доме Платона была обустроена экседра — зал заседаний. Здание школы украшала надпись: «Негеометр — да не войдет», свидетельствовавшая о первостепенном значении, которое придавал Платон науке о мысленных, идеальных фигурах — геометрии. Рассказывают, что одному из начинающих философов, не знавшему геометрии, Платон сказал: «Уйди прочь! У тебя нет орудия для изучения философии...».

Уважение к геометрии — науке, открывающей философу незыблемые законы в изменчивом мире явлений, было привито Платону его другом пифагорейцем Архитом. Вообще многое в платоновской Академии было устроено по образцу пифагорейских общин. Как и у пифагорейцев, занятия в Академии разделялись на две ступени: первая, более общая, — для широкого круга слушателей и вторая — для узкого круга посвященных в тайны философии. Тот же пифагорейский строгий распорядок дня, начинавшийся гудением особого «будильника», сконструированного самим Платоном, тот же пифагорейский аскетизм и чистота нравов, то же пифагорейское воздержание от мяса, та же пифагорейская скромность совместной трапезы определяли быт и нравы Академии. В духе пифагорейских традиций, рассказывавших о мудрых женщинах-пифагорейках, были в Академии и две женщины — Ласфения и Аксиофея. Последняя, правда, ходила в мужском наряде и скрывала свой пол.

Так, в ежедневных беседах с учениками, раздумьях и упражнениях духа прошло 20 лет — лучшая и самая плодотворная пора в жизни Платона. Казалось, ничто не могло изменить мерное течение жизни философа в Академии. Однако судьбе вновь угодно было дважды разорвать череду академических дней Платона и дважды поставить философа на край гибели. Трагедию жизни Платона ожидали ее третий и четвертый акты.

В 367 г. до н.э. в Сиракузах умер Дионисий Старший, и власть перешла к его сыну Дионисию Младшему, который наследовал от отца не только престол и имя, но и угрюмость характера, невежество и склонность к пьянству. С приходом нового тирана очнулся и неугомонный Дион, который только и ждал этого момента. Дион забрасывает Платона письмами, всячески убеждая афинского мудреца в том, что наконец-то настало время воплотить в жизнь платоновские планы идеального государства, сделать из Дионисия «философа на троне». И шестидесятилетний мудрец, слава о котором гремела по всей Ойкумене, с мальчишеской легкостью поддается уговорам Диона.

В 366 г. до н.э. в порту Сиракуз появляется корабль с Платоном, и Дионисий Младший присылает за мудрецом роскошную царскую колесницу. История повторялась с неумолимостью круга. Вначале — горячее рвение Дионисия к философии и наукам, так что все залы дворца были усыпаны тончайшим песком, на котором чертились геометрические фигуры и доказывались теоремы. В конце — не менее жгучее неприятие «просвещенным» тираном и философии, и самого афинского философа.

Сумрачный Платон, искавший вечных и неизменных истин где-то в заоблачных высях мира идей, пришелся явно не ко двору. Дионисию нужно было чего-нибудь попроще и в обращении, и в философии. Ему более импонировал весельчак Аристипп со своей незатейливой философией земных радостей, который на вопрос Дионисия, зачем он пожаловал, ответил: «Чтобы поделиться тем, что у меня есть, и пожить тем, чего у меня нет». Развязное остроумие Аристиппа было понятнее Дионисию, чем заумные построения Платона. Однажды, когда казначей Дионисия Сим хвастался Аристиппу роскошью своего дворца с великолепными мозаичными полами, Аристипп плюнул ему в лицо со словами: «Во всем дворце некуда более плюнуть». В другой раз, когда Дионисий потребовал от Аристиппа сказать что-нибудь философское, он ответил: «Смешно, что ты у меня учишься, как надо говорить, и сам меня обучаешь, когда надо говорить». И так далее.

Но в одном Аристипп оказался прозорливее своего товарища по сократовскому кружку Платона. Едва только Платон сошел с царской колесницы, Аристипп сказал окружающим: «Предрекаю вам, что в скором времени Платон и Дионисий станут врагами». Пророчество Аристиппа сбылось уже через месяц. Сначала Дионисий выслал из Сиракуз Диона, обвинив его в измене. Затем заключил в крепость Платона, якобы желая обезопасить философа от начавшихся волнений. По сути это был плен. Одновременно лицемерный тиран продолжал кланяться в любви и преданности философу и философии. Только вспыхнувшая через несколько месяцев война помогла Платону вырваться из «дружеских» объятий Дионисия, ставших столь крепкими, что вот-вот могли задушить философа.

Но самое удивительное, что Платон и в третий раз, когда ему было под семьдесят, снова дал себя уговорить Диону и Дионисию и еще раз отправился на Сицилию: слишком сильно было желание философа осуществить свою мечту об идеальном государстве и слишком доверчив был этот старый идеалист к людям. Настырный Дионисий, вновь возгоревший желанием украсить свой двор лучшим философом, прислал за Платоном триеру с учеником Архита Архедемом в качестве поручительства за безопасность философа. И Платон снова поднялся на корабль. Шел 361 г. до н.э. Платону было шестьдесят шесть.

Вновь царские милости щедрым дождем посыпались на философа. Вновь Аристипп получил повод для своего циничного остроумия: «Право же, щедрость никогда не разорит Дионисия. Нам, которые

просят много, он дает мало, а Платону, который ничего не берет, — много!» Но...

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев и барская любовь.

Эта нехитрая грибоедовская сентенция оставалась справедливой и задолго до нашей эры. Барская любовь Дионисия скоро сменилась барским гневом.

Тиран выставил Платона из своего дворца и поселил вблизи казарм наемников. Это было равнозначно верной гибели: солдаты люто ненавидели философа, призывавшего тирана сменить отряды телохранителей на ряды книг. Платона снова спас Архит. Он прислал за старым другом тридцативесельный корабль с жесткой просьбой отпустить Платона. И здесь Дионисий остался верен себе. Он устраивает пышные проводы Платона, которого вчера обрек на погибель. На прощание Дионисий заискивающе спросил: «Что ж, Платон, ты, верно, много всяких ужасов нараскажешь о нас своим друзьям-философам?» «Помилуй, — ответил Платон, — в Академии и так много тем для бесед, чтобы нам вспоминать о тебе». Больной и разбитый вернулся Платон в родную Академию. Тем для бесед по-прежнему оставалось много, но силы измученного философа были на исходе. Закончился предпоследний акт трагедии его жизни.

Но подходила к концу и вся жизнь Платона, в которой, начиная со смерти Сократа, одно трагическое событие следовало за другим. Последние семь лет жизни Платон посвятил своему последнему произведению «Законы», где, как в обнаженной ране, сосредоточились вся боль и все разочарование от несбывшихся надежд философа. И потому нет в «Законах» былой легкости и блеска, отличавших прежние диалоги Платона. Нет в них и непременного участника всех платоновских диалогов Сократа, а значит, и нет его доброй и хитровой усмешки, нет будоражащих мысль вопросов этого «афинского овода», нет расшибающего лбы столкновения противоречий. Мысль в «Законах» стоит, как Солнце в зените в день летнего солнцеворота, когда происходит действие диалога. Да и не диалог это вовсе, где мысль бьется, растет и развивается, обретая чеканный профиль, а монолог, в котором автор вещает голосом пророка. «Да внемлет всякий...» — так начинается пятая книга «Законов». Так, застывая в непререкаемых фразах, заканчивалась буйная жизнь платоновской мысли.

Город-государство из Платоновых «Законов» походил скорее на город-казарму. Не было здесь более Сократовой идеи права, была только жесткая рука твердой власти, под чьим неусыпным оком протекала жизнь «свободных» граждан. Не было светлого праздника жизни, была только долгая армейская служба да изнурительная работа во имя высших целей государства. Не было свободного искусства, была только подчиненная идеологии служба воспитания «единомыслия». Не было волшебной античной религии, осталось только скучное отправление культовых обязанностей. Как это все знакомо нам, наследникам

социалистического лагеря, построенного в России по образцу Платоновых казарм.

«Когда читаешь «Законы», — пишет А. Мень, — начинает казаться, что страницы этой книги написаны маньяком, тяжелым душевно-больным, дошедшим на старости лет до полного маразма. Но, даже усматривая в «Законах» явные черты умственного и душевного расстройства, нельзя только этим объяснить дух книги. Еще работая над «Государством», философ поддался искушению поставить во главу угла не человека, а строй, в «Законах» же он сознательно заключил сделку с Судьбой, всецело проникся презрением к личности, освятив насилие над человеческим духом».

Так в мрачном разочаровании в собственных идеалах, в болезненном отречении от собственного учителя заканчивался пятый акт трагедии жизни Платона. В 347 г. до н.э. в день собственного рождения, а значит, и в день рождения бога Аполлона, в день своего восьмидесятилетия, Платона не стало. Осиротевшие ученики похоронили своего учителя под сенью платанов Академии.

И все-таки вряд ли правильно называть жизнь Платона только трагедией. Платон создал научную школу — Академию, просуществовавшую почти 1000 лет, Платон взрастил десятки учеников, от которых пошли сотни и тысячи его научных внуков и правнуков по всей Ойкумене, Платон создал великие произведения, которые пощадило время, которые пережили тысячелетия и которые легли сверкающими бриллиантами в сокровищницу мировой культуры. А это ли не высшее счастье для мудреца?!

Смерть Платона, нашедшая мудреца в день его рождения на свадебном пиру, также свидетельствует о богоизбранности философа. Ведь, как давно замечено в народе, такой смертью Господь одаривает только праведников. Так на свадебном пиру Платон обручился с вечностью.

Легкой жизни я просил у Бога
Легкой смерти надо бы просить.

Платон будто знал, что этот крик души вырвется через 24 столетия в чужом Париже у русского поэта-эмигранта Ивана Тхоржевского.

Что же можно сказать в кратком очерке о философии Платона, о той гигантской, неподъемной глыбе, лежащей на поле мировой философии? Разумнее, видимо, ограничиться главным, попробовать просверлить в этой глыбе дырочку к сердцевине и рассказать о ней подробнее и доступнее, хотя совмещение этих двух противоречивых требований и запрещено логикой. И все-таки.

Платон — основоположник идеализма в философии. Сегодня это столь же расхожая фраза, как и то, что Эйнштейн — создатель теории относительности, а Земля вращается вокруг Солнца. Но что есть идеализм вообще и идеализм Платона в частности? Здесь многие остаются в счастливом неведении и не подозревают, что стоят за этими словами истины не менее глубокие, чем теория Эйнштейна, и не ме-

нее загадочные, чем природа силы тяготения. Итак, что есть идеализм Платона?

В своей философской системе Платон пытается преодолеть все то же *Парменидово противоречие* между непреходящими умопостижаемыми сущностями и текучими, чувственно воспринимаемыми явлениями или между «истиной» и «мнением». Это противоречие уже более ста лет будоражило умы античных мыслителей, и каждый из них предлагал свое решение. Демокрит, как мы знаем, в качестве первоосновы бытия рассматривает материальные, телесные атомы. Атомы Демокрита неделимы, вечны, неизменны, сверхчувственны, поэтому и умопостижаемые сущности — первоосновы бытия — непреходящи. Но атомов у Демокрита много, они подвижны, их комбинации разнообразны, откуда следует разнообразие и текучесть мира чувственных явлений.

По существу то же самое делает и Платон, но не в мире материи, а в сфере духа. В качестве первоосновы бытия Платон рассматривает нематериальные, бестелесные атомы — идеи. Идеи Платона, как и атомы Демокрита, неделимы, вечны, неизменны, сверхчувственны, поэтому и мир духовных сущностей — идей — непреходящ. Но идей у Платона много, а их конкретные земные воплощения несовершенны и разнообразны, отчего мир чувственных явлений подвижен и разнообразен. Итак, Платон и Демокрит решают одну и ту же задачу — задачу Парменида — и решают ее, по существу, одним и тем же методом. Разница между ними в том, что Демокрит свои атомы находит в мире материального, а Платон — в мире духовного. Демокрит и Платон выходят из одной точки, обозначенной Парменидом, но уходят в противоположных направлениях: первый — в мир материи, второй — в мир духа.

Показательно, что и само слово «эйдос» (греч. εἶδος — вид, форма) в греческую философию ввел Демокрит, а не Платон. У Демокрита «эйдос» есть одно из обозначений «атома», т.е. «геометрическая форма», «фигура» — ведь Демокрит различал свои атомы именно по геометрической форме. Платон заимствовал у Демокрита этот термин и стал называть «эйдосами» наряду с «идеями» (греч. ἰδέα — понятие, представление) свои бестелесные «атомы», т.е. устойчивые умопостижаемые «формы-понятия» духовного мира.

Однако одинаковыми словами Демокрит и Платон обозначают принципиально различные сущности. Демокритовские идеи-формы телесны, материальны и недоступны чувствам только из-за своей малости. Платоновские идеи-формы бестелесны, нематериальны и в принципе неуловимы для ощущений. «Атомизм» у Демокрита есть отыскание первооснов в мире материального, тогда как «атомизм» Платона есть поиск первосущностей в мире духовного.

Платон первым осознал, что это различие приводит к двум принципиально несводимым концепциям в философии, обозначаемым сегодня как материализм и идеализм. Это различие «двух линий» в философии Платон с присущей ему художественной образностью изобразил в диалоге «Софист».

«Чужеземец. Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более ничего не желая слышать.

Теэтет. Ты назвал ужасных людей; ведь со многими из них случилось встречаться и мне.

Чужеземец. Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, пренебрежительно защищаются как бы сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие — это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят эти люди, и то, что они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бытием, а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Теэтет, всегда происходит сильнейшая борьба».

Удивительно, насколько прозорливо предвосхитил Платон затянувшуюся на тысячелетия «сильнейшую борьбу» последователей Платона идеалистов с «ужасными людьми» материалистами.

Как же представлял себе Платон мир бестелесных идей? Часто для передачи своих стержневых положений Платон прибегал не к бесстрастному языку логики, а к образному, «мифологическому» языку. Платон, очевидно, понимал, что не все можно и нужно облекать в жесткие формы посылок и следствий, именуемых в логике силлогизмами, и потому в ответственные моменты рисовал некие аллегорические картины, открывающиеся его внутреннему взору. Так возникали величественные философемы Платона — философские мифы, рассказанные философом-сказителем. Один из таких мифов, повествующих о мире «эйдосов» Платона, мы позволим себе привести почти полностью. Это знаменитый Миф о пещере, с которого начинается VII книга «Государства». Рассказ от первого лица ведет платоновский Сократ, которому внимает его ученик Главкон.

«— После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию... посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.

— Это я себе представляю.

— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; про-

носят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.

— Станный ты рисуешь образ и странных узников!

— Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?

— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?

— А предметы, которые проносят там, за стеной? Не то же ли самое происходит и с ними?

— То есть?

— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?

— Непременно так.

— Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени?

— Клянусь Зевсом, я этого не думаю.

— Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину те-ни проносимых мимо предметов.

— Это совершенно неизбежно.

— Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное.

Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройти, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?

— Конечно, он так подумает.

— А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?

— Да, это так.

— Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору, и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он

не будет страдать и не возмутится таким насилием? А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят.

— Да, так сразу он этого бы не смог.

— Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем — на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом — на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его свет».

Итак, сумрачная пещера и нелепый «театр теней» в ней — это и есть, по Платону, видимый нами мир. Узники пещеры, скованные цепями, — это мы с вами, люди, прикованные цепью к чувственным представлениям и принимающие «театр теней» за подлинную действительность. Трудно пещерным жителям освоиться с мыслью, что существует другой — светлый, красочный, радостный, совершенный мир, стоящий над чувственным восприятием и доступный лишь разуму человека. Только философ, сбросивший с себя оковы ощущений, цепи «мнения», способен вырваться из промозглого черно-серого мира пещерных теней и открыть для себя вышний мир чистой, как небо, истины. Сверхзадачей Платона и является попытка приобщить простого смертного к этому вечному, чистому, совершенному, божественному миру истины или миру идей.

Но откуда возникла у Платона мысль о существовании двух миров — реального и идеального? несовершенного реального и совершенного идеального? Понятно, что Платон не был бы Платоном, если бы ограничился только голой констатацией этого факта, пусть даже и в красочной, аллегорической картине. Напротив, всю свою



жизнь Платон только и делал, что логически обосновывал нарисованную им картину двух миров, рассматривая ее со всех сторон, строя все новые и новые доказательства ее существования — настолько новые и настолько разные, что часто Платон опровергал самого Платона. Попробуем и мы вместе с Платоном совершить это трудное и пьянящее восхождение в заоблачный мир вечных, как горы, идей.

Вот платан, обращается философ к своим ученикам, вот другой платан, вот третий; вот кипарис, вот олива, вот дуб. Как ориентироваться человеку в том непрерывном, как течение Гераклитовой реки, потоке сообщений, которые приносят ему органы чувств, вечно бегущий мир мнения? Во всей Академии нет двух одинаковых платанов, но тем не менее все эти раскидистые великаны человек безошибочно называет одним именем — платан. По всей Ойкумене шелестят зеленой листвою сотни столь разных живых существ, которые мы уверенно называем одним словом — дерево. А есть еще травы, бабочки, жуки, рыбы, птицы... Сколь непохожи друг на друга атлетическая поступь Парфенона и женская грация Эрехтейона, но оба афинских храма прячут в себе прямоугольники периптеров, треугольники фронтонов, окружности колонн. Что позволяет человеку ориентироваться в пестром многообразии вещей и явлений и находить связующие это многообразие внутренние сущности?

Это идеи, отвечает Платон, доступные только умственному зрению «эйдосы» или «виды» реальных объектов и явлений. Глаз видит великое множество предметов внешнего мира, но не видит их «внутреннего вида», их эйдоса. Эйдос способен разглядеть только разум. Глаз открывает человеку гигантское разнообразие объектов реального мира, разум раскладывает эти предметы «по полочкам», и каждую «полочку» определяет свой эйдос. Эйдос — это вечный образец, парадигма (греч. *παράδειγμα* — образец), организующая беспорядочную массу текущих явлений в упорядоченную в сознании человека структуру. И как для чувственного зрения существует мир реальных объектов, так и для умственного зрения, рассуждает Платон, должны существовать свои объекты, созерцаемые разумом. Эти объекты Платон называет идеями или эйдосами.

Если реальное дерево рождается, растет и умирает, т.е. постоянно изменяется, если реальную рыбу можно разрезать на куски, то идея дерева или идея рыбы вечна, неизменна и неделима. Она одна для всех деревьев и одна для всех рыб. В противном случае она не могла бы служить разуму тем единственным и неизменным ориентиром, который позволяет отличать все реальные деревья от всех реальных рыб, а также объединять все реальные деревья, с одной стороны, и всех реальных рыб, с другой. «Идея не рождается и не умирает, — говорит Платон, — не воспринимает в себя что-либо другое, не переходит сама во что-нибудь другое». Более того, идея прекрасна, ибо она неподвластна времени, которое разрушает, старит, обезображивает все живое и даже неживое на земле. Мир идей пребывает вне времени, он погружен в вечность, он вечно молод и вечно прекрасен.

Если реальный цветок можно увидеть, понюхать, потрогать рукой и т.д., то идея цветка недоступна органам чувств. Идея доступна лишь разуму. Но если идея неделима и сверхчувственна, значит, она либо бестелесна, либо подобна Демокритову атому, ибо из всех телесных предметов только атом неделим и сверхчувственен. Платон так и не сделал выбор в пользу телесной атомарности или бестелесности идеи и до конца дней своих оставался раздираем этим противоречием. Как объективный идеалист, он верил в объективно существующий вне человека и независимо от человека вечный и неизменный, а значит, и бестелесный мир идеальных образов. Но как истинный грек, привыкший все видеть и все осязать, как человек античной культуры, для которого и весь космос был только здоровым и хорошо тренированным телом, Платон не мог представить себе идею — этот обобщающий «вид», этот канонизированный «образец» той или иной части космоса — иначе как телесно и материально. «Идеальный мир у Платона, — пишет А.Ф. Лосев, — населен как бы теми же неподвижными скульптурными изваяниями, теми же статуями, какие в изобилии творило земное греческое искусство периода классики».

Итак, обосновав необходимость существования «внутреннего вида» вещи — его идеи, Платон переходит к описанию или, скорее, конструированию таинственного бестелесно-телесного мира идей. Здесь философ в особенности бессистемен и полон противоречий, хотя чаще всего он склонен видеть мир идей как некую «занебесную область», которую «занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность», точнее сущности, именуемые *эйдосами*. Число эйдосов в мире идей велико, но не бесконечно. В принципе эйдосов столько, сколько существует их земных прообразов. Однако здесь также возникают трудности, ведь мир идей Платона — не просто царство сущностей, а царство совершенных сущностей. Но, спрашивается тогда, есть ли эйдос грязи, эйдос подлого поступка или эйдос преступления? Эти вопросы смущали даже неуязвимого платоновского Сократа.

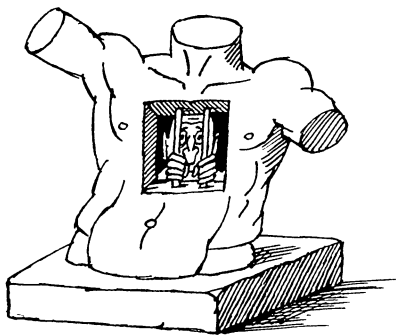
Несмотря на встречающиеся на каждом шагу трудности, Платон продолжает строить свой «занебесный» мир идей. Мир этот можно уподобить пирамиде, на вершине которой возвышается идея Блага или Добра. Благо — это Солнце мира идей. «Его надо ставить выше всего, выше всех идей», — утверждает Платон. Истина, Красота, Справедливость — высокие или «благовидные» идеи, стоящие рядом, в непосредственной видимости от идеи Блага. Тем не менее располагаются они ниже идеи Блага и светятся его отраженным светом. Еще ниже располагаются идеи природных явлений и процессов — идеи движения, покоя, звука, света, цвета и т.д.; затем идут идеи живых существ, еще ниже — идеи предметов, производимых человеком, и т.д.

Далее Платон пытается разрешить еще более сложную проблему взаимоотношения двух миров — реального и идеального. Как бестелесные неподвижные и неизменные идеи приводят в движение телесный и изменчивый мир? Если вещи — это тени идей, то как образуются эти тени? Чтобы как-то соединить два мира, разорванных им

самим, — мир материи и мир идей, Платон вводит третье начало — душу космоса, или мировую душу. Душа космоса — это источник движения, жизни, одушевленности. Это творческая сила, объемлющая и связующая два Платоновых мира. Она заставляет вещи подражать идеям, она приближает идеи к вещам. Мировая душа наполняет космос движением и энергией, благодаря ей космос и выглядит как «единое видимое живое существо».

Но кто создал два мира, связуемые мировой душой? С этого вопроса начинается новый клубок проблем, который пытается распутать Платон. И снова двусмысленности и недосказанности сопровождают философа. У него даже два бога — бог-футургос (бог-творец) и бог-демиург (бог-ремесленник). Бог-футургос творит идеи; бог-демиург создает материю, имея идеи как заданные парадигмы. Бог-демиург ближе и понятнее Платону, и о нем он говорит более подробно.

Откуда же взялась праматерия, из которой по «идеальному» плану творит бог-демиург? Праматерия вечна. Бог-демиург только привел ее в гармонический порядок, превратил Хаос в Космос. «Бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении, он привел их из беспорядка в порядок», — говорит мудрец в диалоге «Федон». Итак, процесс мирозидания есть процесс превращения первородного Хаоса в прекрасный и гармоничный Космос. Направляет этот процесс божественный Логос. *Логос творит Космос из Хаоса.* Такова стержневая идея платоновской космогонии.



Но как человек ведет себя на пересечении двух миров? Отражением реального и идеального миров в человеке являются его тело и душа. Тело и душа противостоят в человеке, как материя и идея. Тело смертно — душа бессмертна, тело изменчиво — душа неизменна, тело делимо — душа неделима. Тело — это гробница для души. В этом месте язычник Платон резко разойдется с будущим христианством, которое будет считать тело

храмом Святого Духа. На этой почве произойдет немало стычек у первых христиан с последними язычниками: от неприятия язычниками проповедей апостола Павла о Воскресении — зачем душе вновь возвращаться в свою темницу? — до многих ересей самих первых христиан, чей чистый «платонический»¹ дух оскорбляла христианская идея о Богочеловеке.

¹Эпитет «платонический» происходит от имени Платона и обозначает принадлежность Платонову миру идей, т.е. чистую духовность, никак не связанную с чувственностью, например платоническая любовь.

Мир идей — родная стихия для души. Как тело блаженствует, погружаясь в теплые морские волны, так и душа, наслаждаясь, плывет в прозрачном потоке эйдосов. Оставаясь ненадолго в земной темнице тела, душа *припоминает* о своей прошлой жизни в занебесных сферах, о том, что она некогда видела, «когда она сопутствовала Богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия», нашептывает человеку сокровенные тайны мира идей. Так Платон объясняет те божественные озарения, те счастливые мгновения приоткрытия истины, которые так хорошо известны каждому творцу.

И вовсе неудивительно, что как проповедник занебесного мира духа Платон с презрением относится к миру тела. Именно здесь, в лоне философии Платона, зарождался христианский *аскетизм* — презрение к телу, ограничение и подавление чувственных влечений. Что может быть большей обузой для заоблачных полетов души, как не бренное тело? Вот как говорит о теле перед казнью Сократ в платоновском диалоге «Федон» (не потому ли с такою легкостью расстается он со своим телом?): «Тело не только доставляет нам тысячи хлопот — ведь ему необходимо пропитание! — но вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массою всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим».

Но где же в это время пребывает душа? Почему она не защищает тело от низменных поползновений? И здесь Платону есть что ответить. Дело в том, что в душе человека два начала: одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать и «припоминать», — разумное, а другое, «из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями», — неразумное. Судьба человека, смысл его бытия зависят от того, какое начало в его душе окажется сильнее. И снова в диалоге «Федр» Платон в красочном мифе объясняет, почему и как это происходит.

Бог поместил души людей и богов на звездах. Сколько душ, столько на небе и звезд. Души возят по небу колесницы, запряженные двумя крылатыми конями. У богов оба коня хорошие, а у людей — только один, а другой плох и зол. Возничие, т.е. души, скитаясь по небу, хотят увидеть занебесную область, где находится желанный мир идей — только он питает души и богов, и людей. Но созерцать мир идей удастся только богам, у которых оба коня хорошие. Душам людей мешает злой конь. Он тащит колесницу вниз, в мир чувственного бытия. Оттого души людей, не напившись воздушными идеями, тяжелеют, их кони устают, они сталкиваются друг с другом, ломают крылья и падают в телесный чувственный мир. Так души попадают в тело. Чья душа оказывается тяжелее, тот тяжелее и характером. Но как ду-

ша живет в своем теле? Что происходит с душой после смерти тела? Можно ли избежать «круга рождений» души в теле?

Чем выше Платон поднимается в заоблачный мир идей, тем больше вопросов обрушивается на него. Как снежные лавины сметают все на своем пути, так и лавины проблем, рожденных миром идей, пытаются сбить мудреца с пути. Но Платон уверенно идет навстречу свышнему идеальному миру, а поднявшись достаточно высоко, начинает строить свою философскую систему: учение о бытии — онтологию, учение о Боге — теологию, учение о целях — телеологию, учение о мироздании — космологию, учение о мирозидании — космогонию, учение о человеке — антропологию, учение о душе — психологию, учение о переселении душ — метемпсихоз, учение о познании — гносеологию, учение об обществе — социологию, учение о нравственности — этику, учение о прекрасном — эстетику и т.д. У нас нет никакой возможности хотя бы прикоснуться к этому огромному миру Платоновой мысли.

Но неужели, поведав слушателям несколько сказок вроде мифа о пещере или о душах, носящихся на крылатых конях по небу, Платон и стал знаменит? В чем универсальность философии Платона, к которой с равным почтением относились и «абсолютный» идеалист Гегель, и «воинствующий» материалист Ленин, предпочитавший «умный идеализм» «глупому материализму»? В чем величие философской системы Платона, которая ставит больше вопросов, нежели дает ответов? На последний вопрос можно было бы ответить кратко: в том и величие, что подлинно философская система вечна, а значит, она постоянно рождает вопросы, в которых и заключен ее эликсир жизни. Но мы попытаемся ответить полно. Впрочем, еще в те времена, когда идеализм Платона считался «архивредной поповщиной», полный ответ с блеском сформулировал А. Ф. Лосев.

«Учение о двух мирах еще может быть снято учением о материи как о принципе самодвижения, не нуждающемся ни в каких других надматериальных принципах и двигателях. Но учение об идее как о принципе осмысления вещей, как об их общей целостности, являющейся законом их отдельных проявлений, — это осталось в науке навсегда, и от этого всемирно-исторического платонизма никакая философия не может и не должна отказаться. Всеобщую закономерность вещей, конечно, можно не называть идеей или совокупностью идей, но от самой этой всеобщей закономерности вещей наука отказаться не может. Законы природы и общества тоже можно не называть идеями природы и общества, но от самих этих законов отказаться невозможно; и законы природы и общества, которые формулируются количественно, хотя они и относятся к природе и обществу, сами по себе не есть природа и общество. Все тела падают. Но закон падения тел никуда не падает и вообще не является никаким телом, которое можно было бы понюхать или потрогать руками. Здесь платонизм неопровержим. Таким образом, со времен Платона резко изменилось само содержание нашей науки и нашей

философии. Но логическая и методологическая структура науки и философии, открытая Платоном, останется в культурном человечестве навсегда».

Итак, идея вещи — это смысл вещи, это закон поведения вещи, это неделимое общее, определяющее все единичное в каждой вещи. Идея вещи — это предел единичных проявлений каждой вещи, предел, в котором растворяется все бесконечно большое число бесконечно малых отличий каждой единичной вещи, стремящейся к этому пределу. Идея вещи — это интеграл, суммирующий все бесконечно большое разнообразие бесконечно малых становлений вещи.

Математические термины не случайно запестрели у нас при оценке глобального значения Платоновой теории идей. Платон и сам к концу жизни все более и более склонялся к пифагорейской мысли о том, что его эйдосы есть не что иное, как математические структуры. Но тогда познание мира означает познание растворенных в нем и управляющих им математических структур. Именно по этому пути и пошло все научное знание о природе. Без идеализированных понятий невозможна стала бы логика Аристотеля, последующая математизация, т.е. еще большая формализация и идеализация, которая привела к развитию математической логики. Без идеализированных математических понятий невозможны были бы блестящие физико-математические открытия Архимеда. Без математической идеализации невозможно все современное естествознание, начавшееся с гениальных идеализаций Ньютона и Лейбница — понятий производной и интеграла. И сегодня, в наш век стремительной математизации и широчайшего применения компьютеров, век, когда стало возможным физический эксперимент заменить экспериментом вычислительным и буквально «увидеть» на экране дисплея компьютера то или иное физическое явление, мысли Платона об идеальных (читай — математических) структурах и их воплощении в реальном мире обретают свое второе рождение.

К сожалению, сам Платон менее всего осознавал истинную, непреходящую ценность именно этого научно-методологического, «математического» среза его теории идей. Платона более волновали мировоззренческие следствия его теории, те мифологические сюжеты, которые она порождала. Эти сюжеты роились в его голове, и Платон-философ никак не мог обуздать Платона-поэта. Платон-философ никак не мог навести логический порядок в хаосе мифологем, рожденных необузданной фантазией Платона-поэта. Увы, таков почти неизбежный удел каждого великого, опережающего свое время: великие с легкостью проходят мимо подлинных жемчужин, найденных ими, и с детской неразумностью тянутся к поддельным блескам. Через 2000 лет после Платона другой ученый-поэт Иоганн Кеплер не осознал истинной ценности открытых им законов небесной механики и всю жизнь посвятил спасению своей юношеской модели Вселенной, построенной с помощью пя-

ти Платоновых тел¹, от неумолимого натиска противоречащих ей новых результатов собственных астрономических наблюдений и расчетов.

Несомненно, Платон видел все недостатки своей теории идей. Но, как и Кеплер, он всю жизнь потратил на спасение дорогой ему теории от самого себя. Как и для Кеплера, то была самая тяжелая и мучительная ноша всей его жизни. Неудивительно поэтому, что в одном из своих последних диалогов «Парменид» философ подверг собственную теорию идей столь разрушительной критике, что многие исследователи творчества Платона склонны считать этот диалог неподлинным и даже приписывают его научному оппоненту Платона Аристотелю. Скорее всего, это неверно. Платон, как и всякая мать, лучше других знал недостатки своего дитя. Но, как и всякая мать, он еще крепче любил свое больное детище. Излишне говорить, что научные оппоненты Платона не были к нему столь милосердны.

«Платон мне друг, но истина дороже», — сказал любимый ученик Платона Аристотель и приступил к безжалостной реконструкции Платоновой теории идей. Аристотель спустил Платоновы идеи из небесных высей на землю и соединил идеи с вещами. Чистый мир платонической истины смешался с бренной землей. Вот почему на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» Платон указывает перстом на небо, а Аристотель простер правую руку к земле.

¹ Платон считал, что атомы четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня, а также атомы мирового эфира имеют форму пяти правильных многогранников, названных впоследствии телами Платона. Кеплер вписал орбиты планет в Платоновы тела и тем самым якобы связал макромир и микрокосм. Подробнее о микрокосме Платона и макрокосме Кеплера можно прочитать в нашей книге «Математика и искусство» (М.: Просвещение, 1992, 2000).

АРИСТОТЕЛЬ

(384 — 322 до н.э.)



Все люди от природы стремятся к знанию.

«Платон мне друг, но истина дороже», — сказал любимый ученик Платона Аристотель и приступил к безжалостной реконструкции Платоновой теории идей. Аристотель спустил Платоновы идеи из занебесных высей на землю и соединил идеи с вещами. Чистый мир платонической истины смешался с брэнной землей. Вот почему на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» Платон указывает перстом на небо, а Аристотель простер правую руку к земле.

Если Платон — величайший ум в истории философии, то Аристотель — величайший труженик. Древние каталоги трудов Аристотеля насчитывают несколько сот книг¹. Один только список «корпуса Аристотеля» — собрания трудов философа, — приводимый у Диогена Лаэртция, занимает несколько страниц. За всю тысячелетнюю историю античности нельзя назвать мыслителя большего энциклопедического размаха, чем Аристотель. Недаром Маркс назвал Аристотеля «Александром Македонским греческой философии».

¹ «Книга» в эпоху античности представляла собой отдельный свиток папируса, где рассматривался свой более или менее законченный вопрос. «Книга» была наиболее распространенной единицей письменного сочинения и скорее соответствует современной главе. Так, каждая из 14 книг «Метафизики» Аристотеля составляет в среднем 20–25 современных страниц.

Диоген в «корпусе Аристотеля» бережно насчитал 445 270 строк. Учитывая, что число символов в одной строке на свитке папируса и в современной книге примерно одинаково, а одна страница обычной книги содержит 44 строки, получаем 20 пятисотстраничных томов «корпуса Аристотеля». Увы, многие из трудов философа погибли: ранние диалоги, коллективные работы, написанные под руководством Аристотеля, со многими утратами дошли и поздние трактаты мудреца. Но Аристотелем создано так много, что еще в конце прошлого века, через 2200 лет после смерти автора, в песках Египта был найден папирусный свиток считавшейся утерянной «Афинской политики» Аристотеля! Собрание сочинений Аристотеля на русском языке составляет 4 тома. Это далеко не все из того, что сохранилось и только пятая часть из того, что было создано величайшим из философов.

Аристотель родился в 384 г. до н.э. в небольшом провинциальном городке Стагире¹, расположенном на полуострове Халкидика на самом севере Эллады. Халкидия была некоей обособленной областью античной Эллады — уже не Греция, но еще и не Македония. Пограничное положение родины Аристотеля определило и двойственное мироощущение самого философа: по происхождению и менталитету Аристотель был чистым греком и тяготел к столичным Афинам, местные же корни связывали мудреца с соседней Македонией, которой скоро суждено было сыграть заметную роль в истории Эллады и в судьбе Аристотеля. Уже древние поняли, что Аристотель станет единственной гордостью провинциальной Стагиры, поэтому уже в античной литературе за философом закрепляется прозвище Стагирит. Ясно, что по причине прямо противоположной Сократа или Платона не называли Афинянами.

Отец Аристотеля Никомах был известным потомственным врачом. Настолько известным и настолько потомственным, что род его возводили к самому богу врачевания Асклепию, который, в свою очередь, был сыном самого Аполлона. Как утверждали предания, Асклепий был столь искусным врачом, что бог Зевс вынужден был убить его молнией, боясь, как бы Асклепий не сделал всех людей бессмертными. Следует заметить, что эти предания два с лишним тысячелетия тому назад воспринимались как самая настоящая «хроника текущих событий». Поэтому великий мудрец ни на йоту не сомневался в своем божественном происхождении и, несмотря на занятость философией и науками, старался не уронить семейного искусства врачевания и приготовления всяческих снадобий. Последним искусством философ владел настолько, что слухи о том, будто сам Аристотель изготовил яд для своего ученика Александра Македонского, не рассеялись и сегодня.

¹По-гречески название полиса употребимо как в мужском и женском роде единственного числа, так и в среднем роде множественного числа. Так что по-русски одинаково правильно говорить и Стагир, и Стагира, и Стагиры.

Неудивительно, что прославленный врач Никомах был приглашен в качестве придворного врача царем соседней Македонии Аминтой III. В столицу Македонии город Пеллу Никомах прибыл вместе с женой Фестидой, сыновьями Аристотелем и Аримнестом и дочерью Аримнестой. Однако придворная жизнь семьи Никомаха оказалась недолгой. Около 376 г. до н.э. Никомах умер, и вдова с малыми сиротами возвратилась в родную Стагиру. Тем не менее, когда через 33 года сын Аминты III Филипп II приглашал Аристотеля стать воспитателем наследника македонского престола Александра, он приглашал не только прославленного философа, но и своего сверстника и товарища по мальчишеским играм.

В 367 г. до н.э. семнадцатилетний Аристотель появляется в Афинах. Обстоятельства приезда юноши в далекую столицу остаются не вполне ясными. Греческий писатель III в. н.э. Элиан в своем сборнике исторических новелл и биографических анекдотов «Пестрые рассказы» рассказывает: «В юности Аристотель промотал отцовское наследство и волей-неволей сделался воином. Но ему пришлось бесславно распрощаться с этой жизнью и стать торговцем лекарственными снадобьями. Незаметно пробравшись в Перипат¹ и слушая там философские беседы, он благодаря исключительной даровитости усвоил начала знаний, которыми обладал впоследствии». Диоген Лаэртский дополняет это не слишком лестное описание юности Стагирита в Афинах не слишком лестным его портретом: «Аристотель, самый преданный из учеников Платона, был шепеляв в разговоре... ноги имел худые, а глаза маленькие, но был приметен одеждою, перстнями и прической». Но если в отношении беспутной молодости Стагирита и его неприглядной наружности мнения античных биографов расходятся, то в том, что Аристотель стал самым талантливым учеником Платона, ни у кого никогда сомнений не было.

¹Перипатами (греч. *περί-πάτεω* — прогуливаться, *περί-πάτος* — прогулка, место для прогулок) в Афинах называли места для прогулок, городские сады, имевшие крытые галереи, где можно было укрыться от зноя или дождя. В перипатах обычно располагались и гимнасии (греч. *γυμνασιον* — гимнасий) — площадки для гимнастических упражнений, которые древние греки совершали в обнаженном виде, откуда и происходит название (греч. *γυμνος* — голый, обнаженный). Впоследствии гимнасии превратились в места для всякого рода обучения, т.е. фактически в школы. Перипаты были облюбованы философами для преподавания и дискуссий.

Аристотель и его ученики, любившие прогуливаться (*περί-πάτεω*) по перипату (*περί-πάτος*) и вести на ходу философские беседы, были прозваны «перипатетиками». Со временем это название закрепилось за всей философской школой Аристотеля — перипатетическая школа. Перипатами, т.е. городскими садами с гимнасиями, первоначально были и платоновская Академия, и аристотелевский Ликей, и антисфенов Киносарг. Элиан под Перипатом подразумевает платоновскую Академию.

Итак, в самую благодатную пору жизни Аристотель попадает в самую благодатную атмосферу истинного пира духа, чей животворный настой хранили кроны рощи Академии. Платону в то время было шестьдесят — мудрец был на вершине философской славы. Его Академии было двадцать — то было молодое, здоровое дитя, набиравшее сил под неусыпным оком любящего родителя. На двадцать лет — лучшую треть жизни, отпущенной богами юному Стагириту, — стены Платоновой Академии станут для него родным домом.

Потребовалось не так много времени, чтобы за юным Стагиритом утвердилась слава самого способного ученика Академии. Талант Аристотеля заявлял о себе столь бурно, что Платон, сравнивая своего любимого ученика Ксенократа с появившимся Стагиритом, в сердцах сказал: «Какого осла мне приходится вскармливать, и против какого коня!» В другой раз Платону пришлось уже жаловаться: «Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать!» Но «жеребенок» был не только прыток, но и сноровист, поэтому достаточно скоро глава Академии стал поручать ему чтение лекций и занятия с учениками.

Однако достаточно скоро наметились и расхождения между Платоном и Аристотелем. Многие античные свидетельства ограничиваются указанием чисто внешних причин неприязни, разлившейся между двумя великими философами. Тот же Элиан пишет: «Считают, что поводом к вражде Платона и Аристотеля послужило следующее: Платон не одобрял свойственной Аристотелю манеры держать себя и одеваться. Ведь Аристотель слишком много значения придавал одежде и обуви, стриг в отличие от Платона волосы и любил покрасоваться своими многочисленными кольцами. В лице его было что-то надменное, а многословие, в свою очередь, изобличало суетность нрава. Не приходится говорить, что эти качества не свойственны истинному философу».

Дальше — больше. Рассказывали, что однажды Аристотель просто выгнал Платона из «своего» уголка сада Академии, где он привык прогуливаться вместе со своими учениками. Старик Платон вынужден был не выходить за ограду своего дома до тех пор, пока верные главе Академии Ксенократ и Спесипп не призвали Стагирита к порядку. Скорее всего, так оно и было. Недаром ведь даже скрупулезный в своих оценках А. Ф. Лосев отмечает, что «кое-что сомнительное в поведении Аристотеля все-таки было. Говорят же злые языки, что он купался в теплом масле, а потом его продавал».

Тем не менее главная причина расхождения между Платоном и Аристотелем была более глубокой, чем строптивый характер Стагирита. Уже в стенах платоновской Академии Аристотелю стало тесно оставаться в рамках чистого платонизма. Сына потомственного врача, знатока трав и снадобий, Аристотеля влекла природа, ее неисчерпаемое разнообразие и та ускользающая от взора нить, связующая это многообразие в единое целое. Слишком остро ощущал Стагирит красоту и мудрость окружающего мира, и слишком далек был от этого

мира занебесный мир платоновских идей. Слишком рано Аристотель понял, что истину следует искать не в заоблачных высях, а на земле.

Такова была истинная причина, незримой трещиной расколовшая пространство между Платоном и Аристотелем. Шло время, и края этой трещины, как края расколовшейся льдины, все более расходились в разные стороны. Аристотель прямо указал на эту причину в своей «Никомаховой этике»: «Учение об идеях было выставлено близкими мне людьми. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам; и хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Позднее эти слова Аристотеля прошли огранку латынью: «*Amicus Plato, sed magis arnica veritas*» — «Платон мне друг, но еще больший друг истина». Ну а популярными они стали благодаря «Дон Кихоту» Сервантеса.

Несмотря на мелкие раздоры, неизбежные при столь длительном и тесном общении, и несмотря на расхождения в узловых философских позициях, существует единственное и неоспоримое доказательство глубочайшего уважения Аристотеля к Платону. До самой смерти Платона в течение двадцати лет Аристотель оставался в стенах Академии. И только проводив в последний путь ближайшего человека и единственного учителя, Аристотель позволяет себе покинуть Академию и отправиться на поиски собственного пути к Истине. Настал 347 г. до н.э. Восьмидесятилетний Платон на свадебном пиру обручился с вечностью, а сорокалетний Аристотель вступил в возраст акме, возраст творческого расцвета и самостоятельных решений.

Тем временем на севере Эллады, над затерявшейся за Пиндскими горами полудикой Македонией, где еще бродили стада зубров, вставала звезда нового властелина Ойкумены — македонского царя Филиппа. Создав почти из ничего сильный флот, собрав несокрушимую конницу, построив пехоту в смертоносную македонскую фалангу, Филипп покорял область за областью. Напрасно призывал греков к единению афинский оратор Демосфен в своих страстных «филиппиках»: «Мы равнодушно смотрим, как усиливается этот человек!.. Он ничего общего не имеет с греками, он варвар — жалкий македонянин, уроженец той страны, где прежде и раба порядочного нельзя было купить... и вот мы все еще медлим, проявляем малодушие и смотрим на соседей, полные недоверия друг к другу». Филипп же, не теряя времени, где силой, где подкупом, где угрозой, а где обманом, прибирал город за городом. Дорога к отчужденному дому для Аристотеля оказалась закрытой — родные Стагиры лежали в развалинах, и обратил их в развалины бывший товарищ Аристотеля по детским забавам. Для Аристотеля настали годы странствий.

Начало было хорошим. Вместе с Ксенократом Аристотель нашел приют у давнего приятеля по Академии Гермия. Гермий был тираном местечка Ассос, расположенного на противоположном от Стагир малоазийском побережье Эгейского моря, неподалеку от легендарной Трои. Советниками у Гермия были еще два «академика» — Эраст и

Кориск. Так что в Ассосе под покровительством платоника Гермия и под руководством Аристотеля возникло нечто вроде филиала платоновской Академии — предтеча будущей аристотелевской школы.

Но счастье совместного творчества единомышленников оказалось недолгим. Через три года Гермий был обвинен персами в сговоре с Филиппом и распят на кресте. Другьям Гермия, тем более Аристотелю, женатому на приемной дочери Гермия, пришлось срочно искать нового пристанища. Аристотель перебрался на соседствующий с Ассосом остров Лесбос к Теофрасту, также товарищу по Академии. Здесь то через два года и нашло его письмо македонского царя Филиппа. «У меня родился сын, — писал Филипп, — но я менее благодарен богам за то, что они мне его дали, чем за то, что они позволили ему родиться в твоё время. Ибо я надеюсь, что твоя забота и твои поучения сделают его достойным будущего государства». Круг замкнулся. Оставшийся без собственного угла, Аристотель принял приглашение Филиппа и в 343 г. до н.э. вновь появился в знакомом по смутным детским воспоминаниям дворце македонских царей.

Сыну Филиппа II Александру было в ту пору тринадцать. То был ангел с лицом Афродиты и неистовством Ахилла. Недаром в день его рождения в Эфесе сгорел храм Артемиды — одно из семи чудес света — и эфесские маги, раздирая лица, бегали по городу и предвещали великое бедствие для всей Ойкумены. От матери Олимпиады, горячечной красавицы-вахханки, посвященной в орфические таинства, мальчик унаследовал безудержную необузданность, а от отца Филиппа — безумное честолюбие. Не так-то просто было Аристотелю обуздать этого отрока с темпераментом зрелого мужа, ревностно следящего за военными успехами отца и одержимого одной только мыслью: «Он мне ничего не оставит».

Но Аристотель, наученный горьким опытом Платона, и не стремился сделать из царя философа. Мудрый Стагирит подправил формулу Платона: царь не должен научиться философии, но царь должен научиться слушать философа. И в этом странствующий философ весьма преуспел. Александр привязался к Аристотелю и до конца дней своих внимал его советам. «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, — говорил впоследствии владыка мира, — так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю — тем, что дает ей цену». Аристотель на всю жизнь полюбил Александра и до последнего не оставлял всесильного монарха отеческими советами. «Раздражение и гнев должны обращаться не против низших, а против высших, — увещевал учитель ученика. — Равных же тебе нет». И Александр принимал эти увещевания. Часто он обращался к написанной для него Аристотелем книге о том, как надо царствовать и как необходима добродетель властелину. В минуты отдохновения грозный властелин, поставивший на колени весь мир, говорил: «Сегодня я не царствовал — ведь я никому не сделал добра».

Разумеется, не нужно думать, что Аристотель сделал из Александра кроткого ягненка. Да Аристотель и не стремился к этому. Природное

упрямство, вспыльчивость и безрассудная смелость как были, так и остались в характере македонского наследника. Но главное, что удалось сделать Аристотелю, — это привить Александру любовь и уважение к греческой культуре. Недаром Александр всю жизнь не расставался со списком «Илиады» Гомера, специально для него переписанной и исправленной Аристотелем, а, покорив персов, возил «Илиаду» в драгоценной шкатулке царя Дария. Поэтому и свою историческую миссию македонский царь связывал с объединением соседних греков, поэтому с царя провинциальной Македонии начинается новая эпоха в истории всей Эллады, именуемая *эллинизмом*.

Но философские беседы Аристотеля и Александра были недолгими. Через три года наследнику исполнилось шестнадцать, и он становится соправителем отца. Военные походы и государственные дела полностью захватывают юношу. Теперь его чаще можно видеть с мечом в седле, нежели на учебной скамье с восковой дощечкой. В благодарность за воспитание сына Филипп II восстановил разоренные им же Стагиры, и Аристотель спустя почти тридцать лет странствий вернулся в родные края. Но жизнь в тихой провинции, вдали от философских школ и в стороне от политических баталий, стала невозможной для Аристотеля. Пробыв на родине три года, отдохнув от странствий и накопив творческой энергии, в 335 г. до н.э. пятидесятилетним мужем Стагирит возвращается в Афины.

Тем временем в жизни Афин, да и всей Эллады произошли судьбоносные перемены. В 338 г. до н.э. в битве при Херонее, что в соседней с Аттикой Беотии, т.е. в непосредственной близости от Афин, Филипп разбил наскоро сколоченное коалиционное войско греков. В битве отличился восемнадцатилетний Александр, первым обративший греков в бегство. После Херонеи был заключен позорный для греков мир, по которому Филипп объявлялся властелином всей Эллады.

А через год Филипп был убит заговорщиками. Афиняне ликовали, наивно полагая, что со смертью Филиппа они обретают свободу. «Мальчишку» Александра никто и не думал принимать всерьез. Демосфен, забыв о трауре по дочери, облачился в белые одежды и воздал жертву богам. В ответ на это «мальчишка» осадил Фивы, и на смерть перепуганные греки безоговорочно капитулировали. Так в двадцать лет Александр стал властелином Эллады. Но это было только начало его фантастического пути. Впрочем, то было начало пути и всей Эллады: эпоха классической Греции как архипелага независимых полисов закончилась — начиналась эпоха эллинизма.

Так что в Афины Аристотель вернулся не просто прославленным философом, но и воспитателем владыки Эллады. Тем не менее демократические традиции в Афинах были настолько сильны, что чужеземец Аристотель мог приобрести участок только за городской стеной — факт, с трудом умещающийся в нашем коррумпированном сознании. Но философ и сам избегал аристократических кварталов. К востоку от Афин, неподалеку от Диохаровых ворот, через которые шла дорога на Марафон, Стагирит приглядел рошу с гимнасием и перипатом. В те-

ни олив были источники с прекрасной питьевой водой, в ветвях платанов щебетали птицы, а со взгорка открывался изумительный вид на гору Ликабет — лучшего места для занятий философией трудно было и вообразить. Роща примыкала к храму Аполлона Ликейского, и поэтому место это издавна называлось Ликеем.

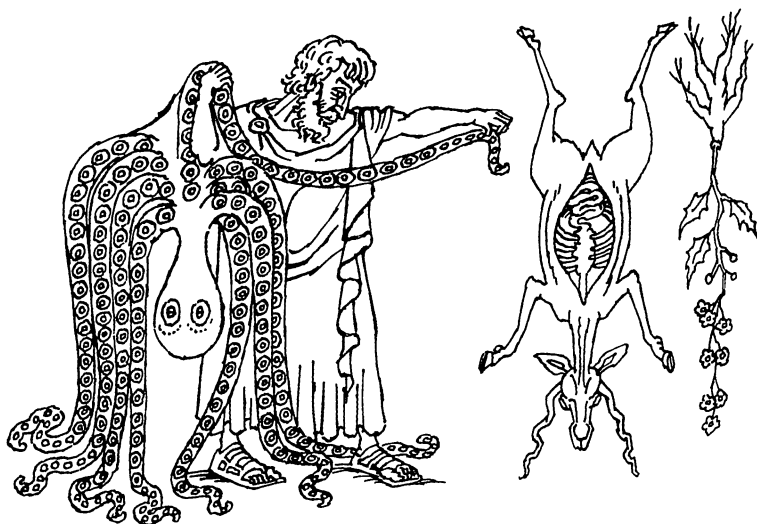
Так, в противовес платоновской Академии, расположенной у западных Дипилонских ворот, у восточных Диохаровых ворот города возникает вторая великая философская школа Эллады — аристотелевский Ликей. Академия и Ликей навсегда вошли в цивилизованный мир как символы ученой мудрости и просвещения. И по сей день во всех странах мира академией называют союз научных учреждений и обществ, а ликеем или в латинизированной транскрипции лицеем — учебное заведение часто привилегированного типа или с углубленной специализированной программой. Вспомним Пушкина:

Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует лицей!

Существующее сегодня различие между академией и лицеем фактически сформировалось еще во времена Аристотеля. Если платоновские «академики» тяготели к отвлеченному философствованию об абстрактном мире идей, то аристотелевские «лицеисты» обратились к конкретному изучению реального мира природы и просветительству. Если для Платона окружающий мир был только мрачной пещерой, скучным «театром теней» от заоблачного мира идей, то для Аристотеля мир был полон жизни и очарования, света и тепла, удивления и радости открытия, которой он щедро одаривал «лицеистов». Если в Академии царицей наук была идеальная математика, то в Ликее — реальная Природа.

Человек в общем-то желчный и хладнокровный, Аристотель с александровской страстью и безудержностью набрасывается на изучение Природы. Сам властелин мира поддерживает эти изыскания: Александр дарует Аристотелю значительную сумму денег на зоологические исследования, он выделяет для Ликеев охотников, птицеловов, рыбаков, собирателей трав, обеспечивающих «экспериментальную базу» этих исследований, он сам присылает в Ликей из дальних походов редкие экземпляры животных. Ни один из многообразных ликов Природы не должен был пройти мимо ее неутомимых ликейских исследователей. «Не следует ребячески пренебрегать исследованиями незначительных животных, — наставляет «лицеистов» Аристотель, — ибо в каждом произведении найдется нечто достойное удивления».

Работоспособность Аристотеля была сверхъестественной, его энциклопедичность и универсализм не превзошел, пожалуй, даже Леонардо да Винчи. Он классифицирует флору и фауну, изучает внутренности жертвенных животных, препарирует морских ежей и осьминогов, изучает полет птиц, следит за развитием цыпленка в яйце. В биологии Аристотель сделал столько, сколько не сделают еще за 2000 лет после него. За два с лишним тысячелетия то были



первые шаги к «Системе природы» Карла Линнея и «Происхождению видов» Чарльза Дарвина.

Но это лишь малая толика из сделанного Аристотелем. В обрушившейся на человечество глыбе «корпуса Аристотеля», который по своей энциклопедичности и бессистемности может сравниться только с «собранием без порядка» многочисленных «кодексов Леонардо», лишь по прошествии двух тысячелетий был наведен должный порядок. Сегодня аристотелевские трактаты принято разделять по восьми направлениям: 1) логика — «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Топика», «Категории» и др., объединенные позже общим названием «Органон»; 2) философия — «Метафизика» и др.; 3) физика — «Физика», «О небе», «Метеоритика» и др.; 4) биология — «История животных», «О движении животных» и др.; 5) психология — «О душе» и др.; 6) этика — «Никомахова этика», «Евдемова этика» и др.; политика и экономика — «Политика», «Экономика» и др.; 7) эстетика и искусствоведение — «Поэтика», «Риторика» и др.

Разумеется, вся эта титаническая работа невозможна без помощи единомышленников, которых надо было подготовить и научить. Поэтому просветительской работе в Ликее уделялось огромное внимание. Утром Аристотель читал лекции для узкого круга по самым абстрактным вопросам философии, после полудня круг слушателей расширялся и темы конкретизировались и упрощались, вечерние часы отводились для наименее подготовленных слушателей. Помимо лекций и учебных занятий в Ликее были совместные обеды для учителей и учеников, где философские беседы протекали в свободной, непринужденной форме. Педантичный Аристотель написал даже специальные «Пиршественные законы», способствовавшие извлечению просветительской пользы даже из такого банального мероприятия.

Так, в творческом упоении стремительно пролетал последний, шестой, десяток лет жизни Аристотеля. И в это же время еще более стремительно разменивал свой последний, третий, десяток его ученик Александр. Если бы не многочисленные свидетельства, подтверждающие едва ли не каждый шаг македонского властелина, его сказочное жизнеописание давно бы нарекли легендой, подобно подвигам Геракла или приключениям Одиссея. Но жизнь Александра — это реальность, превосходящая самую буйную фантазию.

Весной 334 г. до н.э. Александр, посетив развалины Трои и гробницу своего кумира Ахилла, выступает в поход против персидского царя Дария III. То была авантюра, граничащая с безумием, — столь неравны были силы противников. Под градом персидских стрел конный Александр первым переплывает пограничную реку Граник. Он зажигает отчаянной храбростью своих солдат и совершает чудо — войско Дария бежит. Казалось, будто дух самого Ахилла вселился в Александра, хранил его от вражеских стрел, копий и мечей и питал невиданной энергией.

Подобно смерчу проносится Александр по Малой Азии: греческие малоазийские колонии с радостью открывают ему свои ворота, новая победа над Дарием при Иссе приносит ему сказочную добычу, Финикия, Палестина, Египет сдаются без особого сопротивления. Египетские жрецы официально объявляют Александра сыном бога Амона и фараоном Египта. В дельте Нила у острова Фарос по его собственноручным проектам закладывается новый город — Александрия — будущий великий центр будущей великой культуры.

Слова жрецов, произнесенные ими скорее в рамках дипломатического этикета, возбудили болезненное воображение Александра. Терпя лишения, он пробирается через ливийские пески в затерянный в пустыне древнейший храм Амона — египетские Дельфы. Никто не знал, что сказали ему жрецы в раскаленных ливийских песках, никому не говорил об этом и сам Александр. Но скоро стало ясным, что македонский царь уверовал в свое божественное происхождение. Отныне Александр видел себя не просто властелином мира, а человекобогом, на которого возложена тяжкая миссия объединения народов мира. Отныне ему стала понятной тайна неотвратимости его сказочных побед.

Отныне не погоня за наживой, а божественная миссия мирового объединения зовет Александра в новые походы. 1 октября 331 г. до н.э. близ Гавгамел Александр наносит Дарию III третье и последнее поражение. Дарий снова бежит, но на сей раз поверженного царя убивает один из его сатрапов. Столицы персидских царей — Вавилон, Сузы, Персеполь и Экбатана открывают свои врата перед Александром. Сказочные восточные богатства волшебным дождем сыплются на владыку мира, и от блеска чистого золота разум его мутнеет.

Страсть и необузданность вакханки Олимпиады просыпается в Александре, он бросается в водоворот пьяных оргий, он заводит огромный гарем с толпой евнухов, он надевает диадему царя Дария и

требует себе неземных почестей. Он отдает на разграбление солдатам сказочно богатый Персеполь, а великолепный царский дворец собственноручно поджигает во время пьяного пира победы. Позже в Самарканде он в пьяной драке пронзает копьем своего друга Клита, спасшего Александра при Гранике в самом начале его пути. Следом за Клитом он впутывает в дело о заговоре своего официального историографа Каллисфена, племянника Аристотеля, жестоко пытается и казнит его без малейших доказательств вины. Впрочем, истинная «вина» Каллисфена была всем хорошо известна: Каллисфен отказался кланяться до земли Александру, что было принято у персов и что было диким для греков.

Казнь Каллисфена оборвала последние нити, связывавшие Аристотеля и Александра. С началом походов македонского царя нити эти рвались одна за другой. Аристотель, тщетно внушавший своему ученику чувство меры — один из основных постулатов античной эстетики, — в безмерном разрастании империи Александра видел только пустую затею, источник бесконечных войн против несчетных народов. Кроме того, Аристотель признавал только греческую культуру и потому неоднократно призывал Александра «повелевать эллинами как полководец, а варварами как деспот». Александр же обожал восточную культуру и вообще был одержим идеей единения Востока и Запада. Он то сам женится на бактрийке Роксане, то устраивает в Сузах пышный «брак Востока и Запада» — бракосочетание восьмидесяти своих гвардейцев на дочерях знатных персов. Классик Аристотель и эллинист Александр хотя и жили в одно время, но принадлежали уже разным эпохам, а потому разрыв между ними был неизбежен. Казнь Каллисфена обратила этот разрыв во вражду.

А идея мировой империи влекла Александра все дальше и дальше: Иранское нагорье, Каспийское море, Парфия, Ария, Дрангиана, Бактрия, Согдиана, Амударья и Сырдарья, Памир и Гиндукуш и, наконец, Индия. Только ропот измученных бесконечными походами солдат смог остановить неутомного властелина мира. Впервые Александр, покоривший армии и народы, горы и пустыни, реки и моря, вынужден был отступить. В 326 г. до н.э. он повернул войска из сказочной Индии, а через три года истерзанная невиданными болезнями армия Александра, выстав своими трупами пустыни Белуджистана, вернулась в «родной» Вавилон. Только каждый четвертый воин смог достичь стен новой «столицы мира».

Весною 323 г. до н.э. Александр принял в Вавилоне греческих послов. Со словами «предоставим Александру именоваться богом, если ему так хочется» беспринципные греки воздали владыке мира божеские почести. Правда, одновременно они привезли Александру письмо от матери, в котором Олимпиада весьма иронично высказывалась о божественном происхождении собственного сына. Вскоре, в самый разгар приготовлений к новым походам в Аравию, Александр занемог. Рассказывали, будто он осушил кубок Геракла и внезапно ощутил острую боль в спине, как от удара копьем. Зловещая болезнь сковала

монарха. А через несколько дней, 13 июня 323 г., в возрасте тридцати трех лет Александр умер.

Смерть властелина мира повергла всех в оцепенение. Человекобог, «сын Зевса-Амона» оказался смертным. Более, смерть схватила его в расцвете сил и в зените славы. Однако растерянность приближенных была недолгой. В жестокой схватке за раздел мировой империи умершего забыли даже похоронить.

Великая смута, объявлявшая необъятную империю Александра, достигла и берегов Эллады. Сторонников македонского царя ожидала опала, его противников — возвышение. Изгнанник Демосфен, лютый враг Филиппа и Александра, с почестями возвращался в Афины. Воспитатель Александра Аристотель, естественно, должен был отправиться во встречном направлении.

Проще всего было предъявить Аристотелю традиционное обвинение в неуважении к богам. Поводом послужили давнишние стихи Аристотеля в честь казненного персами Гермия. Верховный жрец Элевсинских таинств Евримедон классифицировал эти стихи как пеан — гимн, с коим можно обращаться только к богу Аполлону, но не к простому смертному. Состав «преступления» был налицо.

Не дожидаясь суда, решение которого было уже predetermined, Аристотель передал управление Ликеем своему другу Теофрасту, простился с друзьями и учениками и со словами «я не хочу, чтобы афиняне еще раз совершили преступление против философии» покинул город. Но преступление против философии фактически уже было совершено. Еще один философ объявлялся неугодным богам и изгонялся из Афин. Анаксагор, Протагор, Сократ, Аристотель, Аристарх Самосский... Не слишком ли длинный список для одной афинской демократии? И только ли афинская демократия способна порождать такой позорный список? Увы, сегодняшняя хроника убеждает нас в обратном.

Опальный философ перебрался на соседствующий с Аттикой остров Эвбею, в полис Халкиду. А через два месяца, в 322 г. до н.э., в возрасте шестидесяти двух лет Аристотель умер.

Только один год разделяет смерти учителя и ученика — Аристотеля и Александра. Обе смерти были слишком внезапными и слишком загадочными, чтобы остаться без пересудов. Но окутавший их туман тайны не развеяли и два тысячелетия. Мать Александра Олимпиада не сомневалась в том, что ее сына отравили. Спустя пять лет после его кончины она казнила многих подозреваемых, а останки некоего Иона, который к тому времени умер, приказала выбросить из могилы. Ходили упорные слухи, что яд для Александра был приготовлен по рецепту самого Аристотеля. Говорили, что ядом служила ледяная вода, стекавшая по капле из расселины скалы, затерянной где-то в горах Аркадии. Жидкость якобы собирали в ослиное копыто, так как она настолько едуча, что разрушает любой другой сосуд.

Но мог ли Аристотель организовать подобное злодеяние? В таком деликатном вопросе лучше уступить слово первому знатоку античнос-

ти А. Ф. Лосеву. «Признаться, мы находимся здесь в весьма затруднительном положении, — пишет Лосев. — Совершенно не верить таким серьезным писателям, как Плиний Старший, Арриан или Дион Кассий, мы никак не можем. С другой стороны, чудовищность самого факта отравления Александра Аристотелем невольно заставляет нас насторожиться и подвергнуть сомнению подлинность такого рода сообщений. Тут же напрашивается мысль и о том, что Аристотель был, кроме всего прочего, также врач и ботаник; и кому же, как не ему, приписывать подобного рода рецепты? От всех этих размышлений остается весьма неприятное и смутное ощущение какой-то недоговоренности, когда невозможно сказать ни просто «да», ни просто «нет». Какая-то чудовищная история, несомненно, здесь скрыта. Но какая? Великих людей, в которых совмещались гений и злодейство, историки знают — увы! — слишком много».

Ну а что можно сказать о смерти самого Аристотеля? Конечно, философу шел уже седьмой десяток, он всю жизнь страдал от язвы желудка, разрыв с Александром и трения с антимакедонской партией тяготили его душу, угроза постыдного процесса, оскорбительного и для обвиняемого, и для обвинителей, наконец, потеря любимого детища, Ликея, — все это не сулило Аристотелю безмятежной старости, а каждое в отдельности могло стать причиной его смерти. Но в том-то и дело, что обстоятельств этих скопилось слишком много, и все вместе они могли подтолкнуть Стагирита к последнему шагу в своей жизни. И здесь мы не можем сбрасывать со счетов еще одного, возможно, самого тяжелого обстоятельства. Если Аристотель был хоть как-то замешан в отравлении Александра, ему надлежало уйти из жизни тем же способом.

Так что циркулировавшие в древности слухи о том, что Аристотель отравил себя аконитом, не лишены оснований. Аконит при соответствующей обработке обладает целебными свойствами, и знаток трав Аристотель, конечно же, пользовался им как болеутоляющим средством. Однако в чистом виде аконит является сильнейшим ядом, вызывающим паралич сердца и дыхательных путей. И это знал не только Аристотель, но и каждый грек, ибо согласно греческим мифам еще богиня чародейства Геката научила колхидскую колдунью Медею варить яд из аконита. «В кончине Аристотеля, — считает А. Ф. Лосев, — несомненно, было нечто загадочное. И пил ли он аконит как болеутоляющее желудочное средство (а Аристотель болел желудком) или, принимая аконит в большой дозе, он прекращал свои счета с жизнью, с которой он не мог рассчитаться другими средствами, печать тайны навсегда будет скрывать от нас подлинную причину смерти Аристотеля».

Но сегодня, по прошествии двух с лишним тысячелетий, важен совсем другой угол зрения на эти события: смерть Аристотеля и Александра отмеряет начало новой эпохи в истории античного мира — эпохи эллинизма, эпохи, в которой сплавятся воедино культуры Запада и Востока. Если Аристотель завершил трехвековой этап в развитии гре-

ческой философии периода классики, то Александр открыл новую страницу в ее дальнейшей судьбе, он вывел мудрость Эллады на широкий простор цивилизованного античного мира. Правда, эта заслуга Александра имела и свою оборотную сторону: выплеснувшись в необъятный мир империи Александра, греческая философия растеклась по нему множеством мелких ручейков, так и не найдя в себе силы обрести ту полноводность и глубину, коей она обладала в тесном пространстве Эллады. Но в целом исход греческой культуры из замкнутых полисов Эллады, слияние культур Запада и Востока оказало самое благотворное влияние на всю историю мировой культуры. Эпоха эллинизма, пришедшая на смену греческой классике, открыла новую страницу в истории человечества. В пространстве эллинизм как феномен культуры охватил весь цивилизованный мир античности, а во времени просуществовал вплоть до V в. н.э. и закончился в VI в. н.э. вместе с гибелью Римской империи и казнью «последнего римлянина» Боэция.

Так началась новая жизнь учителя и ученика, Аристотеля и Александра, вечная жизнь в новой культуре античного мира — эллинистической культуре. «Хотя культура эта, — пишет А.Мень, — будет нести на себе печать обезличивающей городской цивилизации, несправедливо было бы умалять ее творческую роль. От Нила до Дуная, от столпов Геракла до Индийского океана растекутся зародившиеся в Греции потоки, увлекая в свои воды тысячелетние традиции. Эллинизм сплетет их, вызывая к жизни новые облики культур. Он проникнет в Египет — и на свет явится фаюмская живопись; он едва коснется Индии — и возникнет искусство Гандхары; он расцветет на карфагенских берегах, достигнет Скифии, будет питать Рим.

Эллинистический мир захватит религиозный порыв такой силы, какой никогда не знала история. Совершится как бы вселенский смотр верований, которые пройдут перед людьми, покинув свои национальные гробницы. Боги Ирана, Малой Азии и Египта появятся в Европе, буддийские проповедники достигнут Афин; Рим будет чтить Исида, Митру, Кибелу. Эпоха эллинизма станет временем напряженных поисков и чаяний. И именно ее открытость к новым учениям подготовит почву, в которую будут брошены семена сеятелей Слова».

Но Аристотелева жизнь после смерти не ограничивалась эпохой эллинизма. «Аристотелизм» составил основу мировоззрения средневековых арабских мыслителей, он неразрывно спаян с европейской средневековой схоластикой и томизмом, когда Аристотеля называли «учитель Афин, вождь, глава, слава Вселенной», он явился философским фундаментом католической теологии. В эпоху Возрождения «корпус Аристотеля» главенствовал среди научных изданий того времени. В течение двух тысячелетий авторитет Аристотеля оставался незыблемым вплоть до эпохи научных революций XVII в., когда начался обратный процесс и когда, по словам Б. Рассела, «каждый серьезный шаг в интеллектуальном прогрессе должен был начинаться с нападок на какую-либо аристотелевскую доктрину». Но и в XIX в. великий Гегель

не скупился на превосходные степени в оценке значения Аристотеля: «Он был одним из богатейших и глубокомысленнейших из когда-либо явившихся на арене истории научных гениев, человек, равного которому не произвела ни одна эпоха».

Разумеется, сколь бы ни были огромны научные заслуги Аристотеля, он никогда не оказал бы такого влияния на умы последующих поколений, не будь его научные открытия обобщены в грандиозной философской системе. Только универсальному гению, способному составить из пестрого хаоса эмпирических фактов величественную мозаику картины мира, суждена слава пророка. Ибо философы, по существу, и есть пророки, только библейские пророки открывают человечеству волю Господню, а философы распознают Его замыслы.

Только философия, по мнению Аристотеля, способна объединить многообразные явления и законы природы в единую систему, имеющую единое Высшее Начало. Поэтому Стагирит различает две философии: «вторая философия» — это фактически физика, биология и вообще естественные науки, доставляющие естествоиспытателю знания о внешнем мире; но есть еще высшая, «первая философия» — учение о сверхприродных силах, определяющих законы природы, т.е. «второй философии». Первую философию Аристотель считает наукой «наиболее божественной», наукой о «божественных предметах» и потому называет ее теологией (греч. *θεολογία* от *θεός* — бог и *λογος* — слово, учение), т.е. учением о боге, богословием. По иронии судьбы первая философия получила название метафизики, т.е. оказалась не перед физикой, а за физикой. Однако со временем слово «метафизика» приобрело особый смысл, как учение о «заприродных» («за физикой»), сверхчувственных принципах бытия, не доступных физике.

«Первая философия» изложена Аристотелем в «Метафизике» — его основном философском произведении, названном так спустя два века после смерти автора Андроником Родосским. Свое сочинение Аристотель начинает с критического обзора трехвековой истории античной философии, так что, помимо всего прочего, Аристотель является и первым историком философии. Однако исторический экскурс носит у Стагирита вспомогательный характер, имея целью подвести читателя к изложению собственной позиции автора в вопросе о первоначалах и высших причинах.

Надо заметить, что своих предшественников Аристотель оценивает весьма невысоко, сравнивая «первых философов» с необученными новобранцами: «ведь и те, оборачиваясь во все стороны, наносят иногда прекрасные удары, но не со знанием дела; и точно так же указанные философы не производят впечатления людей, знающих, что они говорят». Вот перед нами Фалес и другие натурфилософы, видящие «начало» в материи, но не видящие «начал», формирующих и движущих эту материю; вот пифагорейцы, забывшие о материи и объявившие идеальное число сущностью всех вещей; вот Анаксагор, выдвинувший мировой Разум в качестве причины «благоустройства мира и всего мирового порядка», за что и признан Стагиритом «единственным трез-

вым среди зря болтавших». Вот, наконец, и Платон — главный объект критики Аристотеля. Теперь тон повествования Аристотеля со снисходительного меняется на непримиримый.

Однако в главном Аристотель остается платоником или, если угодно, объективным идеалистом. Как и Платон, Аристотель признает, что всякая вещь обладает совокупностью присущих ей существенных свойств, которые и есть не что иное, как идея или эйдос вещи. Всякая вещь тленна, она подвержена действию времени, она постоянно изменяется. Идея вещи вечна и неизменна, она неподвластна времени — свойство, благодаря которому вещь и становится познаваемой. Идея вещи не есть еще сама вещь, но есть только смысл, отражение, закон вещи. Яблоко можно съесть. Идеей яблока можно насытить лишь воображение. Яблоко падает на землю, разбивается и гниет. Но закон падения яблока, как и закон его гниения, не падает и не гниет — законы или идеи вечны и неизменны. В этих основных постулатах Платон и Аристотель едины, да вряд ли их можно оспорить и сегодня.

Но, признавая Платоновы идеи, Аристотель решительно выступает против Платонова мира идей. Платон был поэт, он опозитизировал идеи, он оторвал идеи от вещей, он собрал идеи в особый свышний мир, где они стали жить собственной чистой «платонической» жизнью. Аристотель был ученый, и он не прощал своему учителю, когда тот говорил «пустые слова и поэтические метафоры». Аристотель категорически возражает против платоновского отрыва идеи вещи от самой вещи, против платоновского обожествления мира идей. Как ученый, как «отец логики», Аристотель выдвигает ряд логических аргументов против Платонова разделения идеи и вещи.

Наиболее сильным из Аристотелевых аргументов является аргумент «третьего человека», который кратко можно сформулировать так: связь идеи и вещи требует посредника — «третьего человека». В самом деле, между «идеальным» и «конкретным» человеком можно поставить «третьего человека», скажем «грека». Между «конкретным» человеком и «греком» можно поставить своего «третьего человека», скажем «бородатого мужчину», и т.д. С «третьим человеком» можно пойти и в противоположном направлении: если человек тем больше человек, чем более он походит на идеального человека, то должен существовать «третий человек» — еще более идеальный, на которого должны походить и обыкновенный и идеальный человек и т.д. Какой же выход из создавшегося затруднения предлагает Аристотель? Вся суть аристотелизма заключается в том, что Аристотель не разъединяет идею вещи и саму вещь, а считает их неразрывно связанными. Аристотель переселяет Платоновы идеи из небесного мира на землю и помещает идеи вещей в самих вещах. В этом случае необходимость в посреднике — «третьем человеке» — между идеей и вещью отпадает. Поскольку идея вещи есть сущность вещи, то эта сущность, считает Аристотель, должна пребывать в самой вещи. Таким образом, в постулате о *нахождении идеи вещи внутри самой же вещи* заключается основное и прин-

ципиальное отличие аристотелизма от платонизма. Еще раз заметим, что в принципе этот постулат несколько не противоречит платонизму, а только является его модификацией.

Но если идея вещи растворена в самой вещи, то что же тогда является ее «началом» или «причиной», как говорит Аристотель? Аристотель называет *четыре первоначала* или *четыре высшие причины*. В «Метафизике» об этом сказано так: «А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия [то, что остается в вещи по отвлечении ее от материи, т.е. фактически идея вещи] ...; другой причиной мы считаем материю, или субстрат; третьей — то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую последней, а именно «то, ради чего» [существует вещь], или благо (ибо благо есть цель всякого возникновения и движения)». Итак, Аристотель указывает четыре первоначала всякой вещи: *форма* — формальная причина, отвечающая на вопрос «Что это?», или, если дословно переводить Аристотеля, «чтойность» вещи, или, если говорить по существу, идея или эйдос вещи; *материя* — материальная причина, отвечающая на вопрос «Из чего это?», или субстрат вещи; *движение* — движущая причина, отвечающая на вопрос «Откуда это?», иначе источник движения или происхождения вещи; *цель* — целевая причина, отвечающая на вопрос «Ради чего это?», или целесообразность вещи. *Форма-материя-движение-цель* — вот четыре столпа, держащих Аристотелеву метафизику. По мнению Аристотеля, предшествующие ему философы «смутно» предвосхищали одно или даже несколько из этих первоначал, но никто не рассматривал их в совокупности.

Как же функционируют выявленные Аристотелем первоначала? Сам Аристотель поясняет это на примере обычного глиняного горшка, с которого начался знаменитый спор о природе прекрасного Сократа с Гиппием, закончившийся крылатыми словами Сократа: «Кажется мне, я узнал, что значит пословица “прекрасное — трудно”. Прежде всего гончар должен знать идею горшка или его форму, «закон», по которому горшок делается и который составляет тайну мастера. Не зная формы-идеи-эйдоса горшка, нельзя сделать и сам горшок. Но одной идеи, как известно, мало. Идея может реализоваться только в материи: чтобы вылепить горшок, необходимо иметь глину, желательно иметь и гончарный круг — тогда горшок будет «идеально» круглым, хорошо бы украсить горшок глазурью. Все это есть второе «начало» горшка — материя.

Но и этого мало. Чтобы сделать горшок, необходим гончар, который размочит и разомнет глину, приведет круг в движение, обожжет и украсит горшок. Таким образом, помимо идеи и материи необходимо движение, позволяющее форму реализовать в материю. И, наконец, работу гончара должна воодушевлять цель. Цель гончара определяет дальнейшую судьбу его детища: либо то будет базарная халтура, которую скоро разобьют и выбросят, либо то будет произведение искусства, которое, подобно Дипилонской амфоре, бережно соберут по ку-



сочкам и будут сохранять в музее. Процесс взаимодействия формы-материи-движения-цели универсален, он применим и к человеку, и к природе. Природа сама изобретает формы и воплощает их в материи, находя собственные источники движения и ставя собственные цели. Отличие двух процессов формообразования или идеевоплощения — природного и рукотворного — Аристотель поясняет своим любимым примером: природа похожа на человека, который лечит сам себя; человек созидаящий подобен врачу, который лечит других.

Говоря о форме Аристотеля, мы не случайно постоянно напоминали об идее или эйдосе. Дело в том, что в современном языке латинское слово «форма» ассоциируется с наружным видом, внешними очертаниями предмета, тогда как у Аристотеля греческое «морфе» (греч. μορφή — форма) обозначало прежде всего внутреннюю структуру, сущность предмета, его идею, эйдос, закон внутреннего и, как следствие, внешнего устройства и функционирования. Так что по существу платоновская «идея» и аристотелевская «форма» суть одно и то же. Противопоставлять их просто неверно, о чем неоднократно предупреждал А. Ф. Лосев: «Когда философию Платона обозначают как учение об “идеях”, а философию Аристотеля как учение о “формах”, то этим вносится в науку весьма большая путаница, поскольку и платоновские термины “идея” и “эйдос” можно переводить как “форма”, и аристотелевскую “форму” можно переводить как “идея”. Связывать “идеи” только с Платоном, а “формы” только с Аристотелем — это попытка во что бы то ни стало установить пропасть между Платоном и Аристотелем».

И все-таки, есть ли среди четырех Аристотелевых «начал» главные? Есть, считает Аристотель, — это форма и материя, причем главенствует среди них форма. Материя не может быть первична, ибо она пассивна, она есть только материал для формы. Тогда остается принять

первичность формы, т.е. провозгласить форму началом и сущностью бытия. Аристотель со всею решительностью и говорит об этом в «Метафизике»: «Формою я называю суть бытия каждой вещи и первую сущность». Таким образом, стремясь преодолеть идеализм Платона, Аристотель приходит лишь к иной его разновидности: первична вечная и неизменная форма, т.е. смысл, вид, наконец, идея или эйдос вещи. Метаморфозу (в данном контексте это слово приобретает буквальный смысл, ибо «за формой» Аристотеля оказывается платоновская идея) философии Аристотеля точно охарактеризовал Б. Рассел: «Метафизику Аристотеля, грубо говоря, можно описать как разбавленные здравым смыслом взгляды Платона».

Форма не возникает и не исчезает, она, как и идея, вечна. Возникновение реальных форм, которые можно увидеть или потрогать руками, не есть акт рождения формы, но есть только реализация формы в той или иной материи. «Я хочу сказать, — поясняет Аристотель, — что делать медь круглой — это не значит делать “круглое” или шар как форму, но — делать нечто другое, именно реализовывать эту форму в другом». Это «другое» и есть материя, которая является только материалом для формы, но не является причиной возникновения новой вещи.

Но вечна и материя, она также не возникает и не исчезает, а только переходит из одного состояния в другое под действием формы. Форма движет рукою скульптора, когда он высекает из глыбы мрамора статую; но форма так и осталась бы навязчивым фантомом в голове скульптора, не будь у него под руками глыбы мрамора, т.е. материи. Итак, акт созидания в природе и искусстве необходимо связан с двумя взаимопроникающими началами — *материей и формой*. Материя и форма теснейшим образом переплетены друг с другом, часто переходя одна в другую. Например, материей для платья служит «материя», т.е. ткань. Но сама ткань есть форма для сложного переплетения нитей, которые для ткани есть материя. Нити же есть форма кручения льняных волокон, волокна — форма обработки стеблей льна, стебли — форма строения живых клеток и т.д. Все мироздание разворачивается перед нами как цепь непрерывных переходов материи и формы. Отделить материю от формы и форму от материи можно лишь в воображении, ибо в природе нет материи без формы и формы без материи.

Но если материя и форма вечны и неизменны, то откуда в природе это вечное движение, вечное течение «реки жизни», в которую невозможно войти дважды? Привести в движение отношение материи и формы Аристотелю помогают два фундаментальных понятия: «возможность» — «дюнамис» (греч. δυναμις — мощь, власть, сила в возможности) и «действительность» — «энергея» (греч. ενεργεια — деятельность, сила в действии). Материя — это возможность реализовать форму. Форма — это действительность для данного этапа существования материи. «Материя дается в возможности, — говорит Аристотель, — потому что она может получать форму, а когда она существует в

действительности, тогда она уже определена через форму». Действительность предшествует возможности, и развитие выступает в виде смены одной действительности другой. В нашем примере нити — это возможность для ткани, а ткань — возможность для платья.

Понятия возможности и действительности сделали философию Аристотеля диалектичной и в то же время избавили ее от тех логических противоречий, которые были свойственны диалектике Гераклита. В самом деле, как с точки зрения логики следует понимать противоречивые высказывания Гераклита о том, что «путь вверх-вниз» или жизнь и смерть одно и то же. Аристотель, который не только первым сформулировал закон отрицания противоречия, но и объявил этот закон основным законом бытия, никак не мог принять «Гераклитова» тождества жизни и смерти. Но, с другой стороны, Аристотель был слишком естествоиспытателем и слишком реалистом, чтобы принять «элейскую» коллизию о неподвижности бытия — на такое мог решиться только «чистый» философ, каким был Зенон. И вот понятие возможности позволяет Аристотелю разрешить это давнее противоречие, ибо суть возможности и состоит в том, что она содержит в себе противоположности. Если Гераклита уточнить и сказать, что в действительности человек жив, но в возможности он смертен, что действительный путь вверх сменится в возможности обратной дорогой вниз, то мир станет диалектичен и непротиворечив.

Итак, развитие — основной закон мироздания — есть цепь переходов возможности в действительность, постоянное осуществление, актуализация возможности. Как понятие производной внесло в XVII в. движение в математику, а через нее и во «вторую философию» — физику, так и учение о возможности и действительности пробудило в IV в. до н.э. статичную античную «метафизику» — «первую философию». Аристотелево учение о действительности и возможности без изменения перекочевало в средневековую философию и было названо в ней на латинский манер учением об акте и потенции. По иронии судьбы именно с понятия производной началась эпоха научных революций XVII в., а значит и эпоха крушения окаменевших на два тысячелетия в средневековой схоластике догматов Аристотелевой философии.

Но что произойдет, если по цепочке переходов возможности в действительность мы пойдем в обратном направлении, к основам мироздания? Какую форму и какую материю увидим мы в начале этой цепи? То будет «первая материя» или Праматерия и «форма форм» или Бог, утверждает Аристотель. Праматерия — это пассивное начало природы. Это бесформенная, неопределенная масса, которую невозможно воспринять чувствами, ибо она лишена формы. Ее нельзя даже сопоставить с какой-то из стихий — землей, водой, воздухом или огнем, ибо стихии уже оплодотворены формой. Праматерия есть нечто противоположное мировой целесообразности, это Необходимость-Ананке, которую «нельзя переубедить, ибо она идет наперекор движению, происходящему по выбору и согласно разум-

ному убеждению». Поэтому материя у Аристотеля оказывается источником несовершенств в мире, в материи скрыты необходимость и случайность, которые ограничивают целесообразную деятельность природы и человека.

Как порождение Праматерии, сама материя также несет на себе негативные черты своего прародителя. Материя у Аристотеля не живое, активное начало, не самодвижущаяся природа-фюзис первых натурфилософов, но мертвая, пассивная, неподвижная, аморфная масса. Чтобы привести эту массу в движение, необходим некий «перводвигатель» или Бог. Аристотель отнял у материи какое бы то ни было творческое начало, целиком передав его в ведение «формы форм» или Бога. Аристотелев взгляд на материю как на инертную массу, не способную к саморазвитию, в течение двух тысячелетий тяготел над философией. Только научные революции XVII в., восстановившие Демокритово учение о вечности движения атомов, а значит и материи, подорвали эту традицию. Но и в XVII в. н.э. Ньютон, как и в IV в. до н.э. Аристотель, для построения законченной картины мира нуждался в гипотезе о «первотолчке», т.е. в гипотезе о Боге. Бесспорные же естественнонаучные основания для того, чтобы покончить с Аристотелевой традицией пассивной материи, философия получила лишь во второй половине XX в., когда в фундаментальных исследованиях Ильи Пригожина были обнаружены процессы самоорганизации в диссипативных структурах.

В противоположность материи форма — источник всякого совершенства в мироздании. Форма облагораживает Праматерию, с каждой ступенью бытия форма развивается, вознося материю ко все более совершенным типам, и венчается «формой форм» — чистой Энергией или Богом. Бог Аристотеля — это и «форма форм», и «перводвигатель», и «цель» мироздания. В Боге сходятся три Аристотелевых «начала» — форма, движение и цель. Нет в Боге только материи. Поскольку мир — это вечный круговорот Вселенной, то достигнуть его «начала» можно, только выйдя за этот круг. Значит, дать начальный импульс движения материальному миру может только нематериальный перводвигатель, каковым и является Бог. По той же причине Бог и неподвижен, ибо все, что движется, приводится в движение чем-то иным. Но тогда, если бы Бог был подвижен, значит, он приводился бы в движение еще чем-то или кем-то и, значит, не мог бы быть перводвигателем. Бог и неизменен, ибо всякое изменение для него было бы только изменением к худшему.

Поскольку материя — это возможность, то лишенный материи Бог — это чистая действительность. Неподвижный и неизменный Бог не может вникать в текущие и преходящие частности, он далек от мелких, сиюминутных забот, составляющих смысл жизни большинства людей. Земной мир субъективного, индивидуального, чувственного чужд Богу, это недостойный для него предмет, ибо, как считает Аристотель, «лучше не видеть иные вещи, чем видеть их». Бог так же равнодушен к маленькому человеку, как Солнце — к тянущемуся ему

навстречу цветку. И тем не менее именно Бог согревает мир и приводит его в движение.

Бог Аристотеля — это «бог философов», безличное, универсальное мировое начало. Он лишен праведного гнева Зевса, влекущей улыбки Афродиты или разгульного пения Дионисия. Как скажет через 2300 лет выдающийся философ XX в. Мартин Хайдеггер (1889—1976), «такому Богу нельзя молиться и приносить жертвы, перед ним нельзя упасть на колени, ни скакать и плясать, как Давид перед ковчегом». Аристотелевский Бог — это чистый Разум, замкнутое на себе мышление, это духовный Абсолют, который «мыслит сам себя... и мысль его есть мышление о мышлении». В нематериальном Боге предмет мысли и мысль о предмете совпадают. Мысля самого себя, тем самым Бог мыслит самое божественное и самое ценное. «Форма форм» мыслит только чистые формы — формы бытия и формы мысли, а значит, Аристотелев Бог есть и онтолог, и логик. Бог есть вместилище сверхприродных, сверхчувственных, т.е. метафизических, сущностей, которые только и могут быть, по Аристотелю, предметом истинной, «первой» философии.

Таковы только некоторые вехи «первой философии» Аристотеля — его метафизики, которая непрерывно переходит в теологию и венчается учением о Боге. Конечно, можно поставить много критически окрашенных вопросов по всей метафизике Аристотеля и тем более по его учению о Боге, где нетрудно усмотреть много натяжек. Последовательный естествоиспытатель, Аристотель пытался спустить на Землю платоновского Бога вместе с его занебесным миром идей, и понятно, что далеко не все у него в этом предприятии удалось. Как остроумно заметил Б. Рассел, «Аристотеля понять трудно, потому что нелегко соединить взгляды Платона со здравым смыслом». С высоты прожитых человечеством после Аристотеля 2300 лет хорошо видно, как многие боги спустились на Землю и как многие люди пытались доказать иллюзорность подобных явлений. Но, несмотря на оголтелое кликушество безбожников, идея Бога остается достойным завершением не только философской системы Аристотеля, но и большинства сменивших ее философских систем.

На этом мы заканчиваем краткий обзор учения Аристотеля, по существу к нему и не приступив. За рамками нашего рассмотрения осталась и «вторая философия» — физика Аристотеля с ее учением о четырех видах движения, проблемой пространства и времени, проблемой формообразования в природе и т.д. Вне нашего поля зрения остались философия математики Аристотеля, учение об актуальной и потенциальной бесконечности, Аристотелево решение апорий Зенона. Мы прошли мимо космогонии Аристотеля, утвердившей на два тысячелетия геоцентризм с семью подвижными сферами и учение о четырех стихиях; психологию Аристотеля с ее тонкими рассуждениями о душе и теле и рассмотрением трех типов души; гносеологии — теории познания (от греч. γνῶσις — познание, λόγος — слово, учение) Аристотеля, в которой основной вопрос философии — вопрос о позна-

ваемости мира — Аристотель решает с предельной ясностью, свидетельством чему первое предложение «Метафизики»: «Все люди от природы стремятся к знанию»; эстетики Аристотеля с ее учением о мере, подражании — мимесисе — и очищении — катарсисе; этики Аристотеля, где разрабатывается учение о нравственности как приобретенном качестве души, учение о видах добродетели и роли знания в достижении добродетели.

Если Геродота принято называть отцом истории, а Эсхила — отцом трагедии, то Аристотель получается самым многодетным отцом среди древних мудрецов. С полным правом Стагирита можно назвать и отцом биологии, и отцом логики, и отцом политологии, и отцом искусствознания. В биологии Аристотель дал первую классификацию более 500 видов животных — для того времени огромного числа, Аристотель на два тысячелетия предвосхитил идею «лестницы существ» Бонне, закон соотношения органов, дарвиновскую «борьбу за существование», так что последний говорил: «Линней и Кювье были моими богами, но все они только дети по сравнению с Аристотелем». Аристотелю принадлежат и многие конкретные биологические открытия, например, открытие челюстного аппарата морских ежей, называемого в биологии «Аристотелев фонарь», начало биения на третий день насиживания сердца куриного зародыша и др. В логике Аристотель из четырех законов мышления точно сформулировал два — закон запрещения противоречия и закон исключенного третьего, заложил основы учения о категориях, дал определение силлогизма и доказательства, разработал метод индукции. В политологии Аристотель впервые классифицировал формы политического устройства государства и дал описание 158 систем государственного устройства, существовавших к тому времени в Эллад и за ее пределами. В искусствознании Аристотель заложил основы поэтики — науки о поэзии, впервые рассмотрел законы стихосложения, изучил роль ритма и метра в поэзии, дал знаменитое определение трагедии: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услащенной по-разному, в различных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей».

Таково грандиозное научное и философское наследие, оставленное человечеству Аристотелем. Аристотель — вершина античной философии, венчающая самый одухотворенный период в истории античности, именуемый *эпохой классической Греции*. Всего за три столетия в каком-то волшебном порыве, названном впоследствии «греческим чудом», взлетела мудрость Эллады на эту вершину, с которой началось затем медленное восьмивековое сползание в небытие великой античной философии. Таков непреложный закон и телесной и духовной жизни: всякая конкретная философия, как и всякий конкретный человек, рождается, расцветает и умирает. Но как живо вечно человечество, так будет вечно жить и «царица наук» философия.

После вершины Аристотеля античная мудрость утрачивает свой творческий характер, она начинает расти вширь, а не вглубь. С эпохой эллинизма, а затем и эпохой Римской империи начинается время распространения греческой философии на Восток и на Запад. Конечно, за восемь веков появятся еще много оригинальных философов и много оригинальных идей, но в целом их глубина и новаторство будут уступать тому, что было создано в предшествующие три столетия. Время разбрасывать камни прошло, пришло время их собирать. Эллинистические и тем более римские философы не столько будут разбрасывать новые идеи, сколько начнут собирать старые, начнут их осмысливать, уточнять, комментировать. В особенности это коснется идей трех великих философов-натуралистов эпохи классики: Демокрита, Платона и Аристотеля.

Как вершина Эльбруса отбрасывает на рассвете гигантскую тень на соседние горы Кавказа, так и философия Аристотеля накрыла своей тенью все последующие философские системы античности. И как с дальнейшим восходом солнца одинокими свечами в эльбрусовой тени начинают вспыхивать снежные вершины соседних гор, так и в тени Аристотелевой философии загорались редкие светлячки новых философских школ античности: киники, киренаики, мегарики, сократики, платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, скептики, неоплатоники. Киники в этом ряду не выделялись глубиной философской мысли, зато брали «кинизмом» или, как потом стали говорить, цинизмом образа мысли и поведения. Наиболее прославился среди киников Диоген Синопский.

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ

(ок. 410 — 323 до н.э.)



*Бедность сама пролагает путь
к философии.*

Как на восходе солнца одинокими свечами вспыхивают вершины снежных гор, так и в тени Аристотелевой философии загорались редкие светлячки новых философских школ античности: киники, киренаики, метрики, сократики, платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, скептики, неоплатоники. Киники в этом ряду не выделялись глубиной философской мысли, зато брали «кинизм» или, как потом стали говорить, цинизмом образа мысли и поведения. Наиболее прославился среди киников Диоген Синопский.

Философские школы киников, киренаиков и мегариков образовались после казни Сократа из его учеников, которых часто звали просто сократиками. Возникли эти школы еще при жизни Платона и Аристотеля. Платон встречался с основателем школы киников Антисфеном в кружке Сократа. Антисфен недолюбливал Платона за его высокомерие, однако и сам, узнав однажды, что Платон дурно о нем отзывается, без ложной скромности заметил: «Это удел царей: делать хорошее и слышать дурное». Диогена Синопского, ученика Антисфена и наиболее популярного киника, Аристотель не мог не видеть на афинской агоре, но, значит, предпочитал не задевать острого на язык Диогена, ибо в противном случае предания непременно сохранили бы память об их встрече. Диоген умер за год до смерти Аристотеля, в 323 г. н.э., в один год и, как утверждает традиция, в один день с Александром Македонским.

Но при жизни двух величайших мудрецов Эллады Платона и Аристотеля сократики были просто незаметны, как незаметны звезды при свете солнца. Так что киники, равно как и мегарики, и киренаики, как философская школа стали формироваться, когда ушли из жизни Платон и Аристотель и когда посмертная жизнь главного киника Диогена начала обрастать причудливыми преданиями. Среди сократических школ киники оказались истинными долгожителями. Философская школа киников просуществовала почти 1000 лет, до самого конца античности, отчасти перейдя в философию стоиков и окончательно растворившись в христианской философии простого обездоленного люда.

Секрет долголетия философии кинизма прост, как и само это учение. Кинизм стал философией социальных низов античного общества: метеков-чужестранцев, лишенных многих социальных прав (напомним, что в Афинах метеками были и Анаксагор, и Протагор, и Аристотель) изгнанников, вольноотпущенников, рабов, нофов-незаконнорожденных, трудящейся бедноты и неимущей интеллигенции. Поскольку по мере развития любого общества расслоение в нем только усиливается, то философия кинизма всегда находила своих приверженцев. За примерами далеко ходить не надо: основоположник философии кинизма Антисфен был сыном свободного афинянина и фракийской рабыни, а значит, еще по солоновским законам считался нофом; самый популярный киник Диоген был изгнан из родного Синопа за «порчу монеты», так что среди афинян он слыл изгнанником; Мони́м Сиракузский был рабом коринфского банкира; Бион — сыном вольноотпущенника и проститутки.

Со временем, благодаря своей доступности и вседозволенности, философия кинизма обрела популярность и стала привлекать к себе богатых искателей приключений и истины. Так, аристократ Кратет из Фив под влиянием Диогена променял свое немалое состояние на нищенскую суму киника; жена Кратета Гиппархия и ее брат Метрокл также происходили из знатной семьи, однако ради Кратета Гиппархия отвергла и красоту, и богатство, и знатность всех своих женихов; кинический поэт эпохи эллинизма Керкид из Мегалополя, чье творческое наследие по достоинству было оценено лишь в XX в. в связи с находкой папирусов с отрывками из «Мелиамбов киника Керкида», был видным государственным деятелем, дипломатом и законодателем; известный киник I в. н.э., изгнанник Римской империи Дион был отпрыском богатой и знатной фамилии, причем как только изгнание Диона закончилось, так улетучился и весь его кинический пафос.

Но почему Антисфена и его учеников прозвали киниками, т.е. «собачниками» (от греч. *κυνοζ* — собака, пес)? По этому поводу существует два мнения. Диоген Лаэртский название школы Антисфена производит от гимнасия Киносарг (*Κυνοσαργῆς* — Зоркий Пес), где обосновался Антисфен с учениками. Другая версия, признаваемая сегодня более вероятной, связывает название школы с прозвищем Дио-

гена *Κυν* — Пес и вообще с «собачьим» образом жизни Диогена. От Диогена, который и сам себя называл собакой, и пошла *κυνική φιλοσοφία* — «собачья философия».

В своем подражании «собачьему» образу жизни киники зашли столь далеко, что попирали элементарные нормы общественного поведения и морали. Диоген мог прилюдно, подобно собаке, «пометить» свое место на агоре или в помещении, как сообщает Диоген Лаэртский, на глазах у всех он совершал «и дела Деметры, и дела Афродиты», киники Кратет и Гиппархия сыграли «киническую свадьбу» прямо на площади и т.д. Неудивительно поэтому, что со временем латинизированное название киников — циники (лат. *супісі*) стало нарицательным и по сей день обозначает вызывающе-презрительное отношение к общественным нормам нравственности, а попросту — бесстыдство и распущенность.

Но перейдем к жизнеописанию «главного киника» Диогена. Жизнеописание всегда помогает глубже проникнуть в философию мудреца, ибо философский образ мысли и философский образ жизни определяют друг друга. На примере Сократа мы ясно видели, что жизнь мудреца и его философия неотделимы. Но в случае Диогена жизнь и философия просто тождественны, ибо вся киническая философия представляет собой не столько систему мысли, сколько систему жизни.

Диоген родился около 412 г. до н.э. в старой милетской колонии Синопе на южном берегу Понта Эвксинского. Синоп и сегодня сохранился сам, сохранил свое название и положение богатого портового города современной Турции, расположенного через Черное море точно напротив современной Ялты.

Отец Диогена Гикесий заведовал казенным меняльным столом и был человеком состоятельным. Однако толстосум никогда не довольствуется имеющимся, хотя, возможно, только поэтому он и становится богатым. Гикесий то ли сам стал «портить монету», то ли привлек к этому своего сына, который позже признавался, что «обрезывал монеты». Так или иначе, оба фальшивомонетчика были уличены, изгнаны из родной Синопы и обречены на жалкую жизнь изгнанников.

Существует предание, согласно которому Диогена на скользкий путь фальшивомонетчика наставила не кто иная, как дельфийская Пифия. Дело якобы обстояло так. Когда Диоген был назначен заведовать чеканкой монеты, то работники стали подбивать его «подумать и о себе». Богобоязненный Диоген в столь деликатном вопросе решил обратиться за советом в Дельфы и получил оракул: «*παρά-φάρασσω νομισμα*». Но в том-то и дело, что Пифия всегда давала оракул в нарочито двусмысленной форме — что-нибудь да сбудется. Диогенов оракул можно было понять как «перечеканивай монету», т.е. как благословение на подделку, но можно и так: «измени обычай», т.е. смени образ жизни, отойди от соблазна. Диогену пришлось по душе первое толкование оракула, которое, однако, ско-

ро обернулось вторым. Так что для Диогена дельфийский оракул сбился дважды.¹

Как бы то ни было, где-то около 390—385 гг. до н.э. в возрасте эфеба изгнанный из Синопы Диоген оказывается в Афинах. Очевидно, происшедшие события произвели в душе Диогена сильнейшее потрясение. Он не только решает на новом месте начать новую жизнь праведника, но и полностью порывает с мирской суетой, посвящая себя философии. В те времена, когда еще не было христианских монастырей, то был единственный путь искупления вины и очищения духа. Как это часто бывает, зло обернулось добром: вместо того чтобы оставаться богачом с нищим, дрожащим от вечного страха сознанием, Диоген превратился в нищего с богатой, гордо-независимой душой.

Начало философского пути Диогена Синопского было нелегким. Диоген Лаэртский так пишет о своем тезке: «Придя в Афины, он примкнул к Антисфену. Тот по своему обыкновению никого не принимать прогнал было его, но Диоген упорством добился своего. Однажды, когда тот замахнулся на него палкой, Диоген, подставив голову, сказал: “Бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь”. С этих пор он стал учеником Антисфена и, будучи изгнанником, повел самую простую жизнь».

Как-то раз, глядя на пробегающую мимо мышь, которая не нуждалась ни в подстилке для сна, ни в столе для трапезы, не боялась темноты и не искала мнимых наслаждений, Диоген понял, что это и есть образец для праведной жизни. С тех пор Диоген стремится предельно упростить свой быт, взяв за идеал жизнь животных, и прежде всего собак. Этот «животный» аскетизм становится для Диогена смыслом жизни и навязчивой идеей. Вместо подстилки для сна он приспособил свой плащ, сворачивая его вдвое, на плечи повесил нищенскую суму, в руки взял посох. Теперь «всякое место было ему одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для беседы». Указывая на портик Зевса на афинской агоре или на Помпейон — склад утвари для торжественных процессий у Дипилонских ворот, Диоген говорил, что афиняне сами позаботились о его жилище.

Но косые зимние дожди заливали портик Зевса, да и хотелось Диогену своего угла: ведь даже животные роют себе каждый свою нору. В конце концов Диоген присмотрел себе валявшийся на агоре старый

¹Двусмысленными оракулами Пифия наделяла не только простых смертных, как Диоген, но и царей. Так, лидийский царь Крез, спросив у Пифии, начинать ли ему войну с персидским царем Киром, получил такой оракул: «Крез, Галис перейдя, великое царство разрушит». Самовлюбленный Крез не усомнился, что Пифия имеет в виду царство персов, и ошибся. Пифия подразумевала его собственное царство. Будучи пленником Кира, он отослал свои оковы в Дельфы, укоряя Пифию в неверном оракуле. Но невозмутимая Пифия ответила, что Крезу следовало получить второй, уточняющий, оракул и, значит, винить он должен только самого себя.

пифос — большую глиняную бочку для хранения зерна или вина, где вполне мог уместиться один человек. Пифос лежал неподалеку от Метроона — храма Матери Богов на агоре, служившего афинянам государственным архивом. Так что новое жилище Диогена оказывалось в центре торговой и общественной жизни города. Отныне и навсегда имя Диогена стало неотделимым от его знаменитой бочки. Афиняне настолько привыкли к Диогену и его бочке, что когда один мальчишка то ли случайно, то ли нарочно разбил жилище Диогена, его высекли, а мудрецу дали новый пифос. Диоген стал для афинян вторым Сократом — его любили, у него спрашивали совета, в его незатейливой мудрости находили отдохновение.



Лишив себя элементарной человеческой благоустроенности, Диоген вынужден был закалять свое тело так, чтобы оно не зависело от капризов погоды. Поэтому летом он лежал на горячем песке, а зимой ходил по снегу босиком и обнимал холодные статуи, запорошенные снегом. Если для большинства людей главную цель жизни составляет накопление всяческих благ, то Диоген неотступно следовал противоположному правилу. Увидев однажды, как мальчик пьет воду из ладони, он выбросил из сумы свою чашку со словами: «Мальчик превзошел меня простотой жизни». В другой раз Диоген заметил, как другой мальчишка, разбивший свою плошку, ест чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба, — и вслед за чашкой он зашвырнул и миску.

Отныне только три вещи становятся непременно атрибутами философа-киника: короткий плащ — трибон (τρίβων), надеваемый на голое тело, нищенская котомка — пера (πῆρα) и посох странника — бактрон (βακτρον).

Диоген приучал себя не только к физическим лишениям, но и к нравственным обидам. Иной раз он просил подавание у статуи, а на вопрос, зачем он это делает, отвечал: «Чтобы приучить себя к отказам». Но если Диоген просил милостыню у людей, а такое случалось нередко, он никогда не опускался до угодничанья перед дающим. Его просьба могла заключать остроумный силлогизм: «Если ты подаешь другим, то подай и мне; если нет, то начни с меня», а чаще содержала и прямой выпад. Один скряга, завидя протянутую руку Диогена, сказал: «Дам, если ты меня убедишь». «Если бы я мог тебя убедить, — ответил Диоген, — я убедил бы тебя удавиться».

Нищенствующего философа не интересовал результат, его интересовали процесс и психологические коллизии, возникающие в этом

процессе. Прощение милостыни для Диогена было психологическим экспериментом, средством общения с людьми, способом изучения человека. Чего стоит едкое объяснение Диогена, почему люди подают милостыню убогим и нищим и не подают философам: «Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть может, и станут, а вот мудрецами никогда». Прося милостыню, Диоген не столько боролся за существование, сколько стремился пробудить добродетель в людях, раскрыть человеческое в человеке. Недаром Диоген говорил о себе, что он берет пример с учителей пения, которые нарочно поют тоном выше, чтобы ученики поняли, в каком тоне нужно петь им самим. Дающие подавания — это ученики Диогена, которых мудрец сознательно помещал в экстремальную ситуацию, чтобы раздуть тлеющие в глубине их души искорки добра.

Мудрый Диоген понимал: в душе человека оставляют след только экстраординарные события, поэтому, чтобы внушить человеку пусть самую простую истину, надо облечь ее в гипертрофированную форму. Здесь и кроется истинная причина всех крайностей и экстравагантностей Диогена. Желая сделать людей добрыми, он просил у них милостыню; стремясь отвратить людей от скаредности и стяжательства, он обрек себя на жизнь бездомного нищего; пытаясь пробудить в человеке духовное, он напрочь отверг в себе телесное. Диоген зорко разглядел в греческом обществе, все более паразитировавшем на труде рабов, смертельные язвы распушенной лени, растлевающего чванства, которое в конце концов погубило и Древнюю Грецию, и великую Римскую империю. И Диоген предпринимает отчаянную попытку выжечь эти язвы — здесь он безжалостен и неутомим.

Некоему эллину, которого обувает его раб, он говорит: «Ты был бы вполне счастлив, если бы он заодно и нос тебе утирал; отруби же себе руки, тогда так оно и будет». В другой раз он объявляет собравшимся: «Боги даровали людям легкую жизнь, а те омрачили ее, выдумывая медовые сласти, благоволия и тому подобное». Диоген возводит в культ презрение своего учителя Антисфена к наслаждениям. Если Антисфен говорил, что предпочел бы безумие наслаждению, то Диоген находит наслаждение в самом презрении к наслаждению. «Само презрение к наслаждению, — говорил Диоген, — благодаря привычке становится высшим наслаждением; и как люди, привыкшие к жизни, полной наслаждений, страдают в иной доле, так и люди, приучившие себя к иной доле, с наслаждением презирают самое наслаждение».

Отвергая мнимые наслаждения и презирая собственную плоть, Диоген, возможно, хотел только привить человеку чувство меры чрезмерными требованиями. Однако он столь высоко поднял планку своих требований, настолько вошел в роль, что стал желчным человеконенавистником, нетерпимым ко всем окружающим. Диоген Лаэртский свидетельствует: «Ко всем он относился с язвительным презрением. Он говорил, что: у Евклида не ученики, а желчевики; Платон отличается не красноречием, а пусторечием; состязания на празднике Дионисия — это чудеса для дураков, а демагоги — прислужники черни. Еще он го-

ворил, что когда он видит правителей, врачей или философов, то ему кажется, будто человек — самое разумное из живых существ, но когда он встречается снотолкователей, прорицателей или людей, которые им верят, а также тех, кто чванится славой или богатством, то ему кажется, будто ничего не может быть глупее человека».

Поэтому неудивительно, что, возвращаясь из Олимпии, на вопрос, много ли там было народу, он ответил: «Народу много, а людей немного». Неудивительно, что в другой раз он стал созывать людей, а когда те сбежались, набросился на них с палкой и криками: «Я звал людей, а не мерзавцев». Понятны и такие причуды Диогена, когда он среди бела дня бродил с фонарем по агоре, объясняя встречным: «Ищу человека».

Однако к чести Диогена следует заметить, что в своем презрении к людям он не делал исключений и для царей. Когда гроза всей Ойкумены Александр Македонский однажды подошел к прославленному мудрецу и представился: «Я — великий царь Александр», тот, ничтоже сумняшеся, ответил: «А я собака Диоген». Другая встреча двух великих вошла в золотой фонд исторических анекдотов. Александр подошел к Диогену, гревшемуся на солнце, и сказал, остановившись над ним: «Проси у меня что хочешь». На это Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнца». Славный ученик Аристотеля с монаршим достоинством парировал: «Если бы я не был царем Александром, то хотел бы стать Диогеном».

И все-таки и жгучая желчь, и экстравагантная грубость Диогена были продиктованы заботой о чистоте нравов и добродетели человека. «Он говорил, — пишет Диоген Лаэртский, — что люди соревнуются, кто кого толкнет пинком в канаву, но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Он удивлялся, что грамматик изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных; музыканты ладают струны на лире и не могут сладить с собственным нравом; математики следят за солнцем и луной, а не видят того, что у них под ногами; риторы учат правильно говорить и не учат правильно поступать; наконец, скряги ругают деньги, а сами любят их больше всего. Он осуждал тех, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам. Его сердило, что люди при жертвоприношении молят богов о здоровье, а на пиру после жертвоприношения обедают во вред здоровью».

После долгих лет пребывания в Афинах, ставших для Диогена вторым домом, он отправился странствовать по Элладе, но не как софист, а скорее как бродячий проповедник. Во время одного из переездов, когда Диоген плыл на корабле на остров Эгину, его захватили в плен пираты. Вместо ближней Эгины мудрец попал на далекий Крит, где его привели на невольничий рынок. На вопрос глашатая, что он умеет делать, верный своей внутренней свободе Диоген сказал: «Властвовать людьми» — и добавил, указав на богато одетого коринфянина: «Продай меня этому человеку: ему нужен хороший хозяин». Коринфянина звали Ксениад. Он купил Ди-

огена и вернулся с ним в Коринф, где и произошла знаменитая встреча Диогена с Александром.

Диоген заявил Ксениаду, что хотя он и раб, но хозяин обязан его слушаться, как слушался бы врача или кормчего, если бы врач или кормчий были рабами. Обескураженный Ксениад решил не испытывать судьбу и приставил Диогена воспитателем к своим сыновьям, а вскоре доверил ему и все хозяйство. И Диоген не подвел Ксениада. Мудрый раб оказался превосходным наставником. Не зря он говорил, что образование сдерживает юношей, утешает стариков, бедных обогащает, богатых украшает. Евбул в книге «Продажа Диогена» пишет, что «Диоген, воспитывая сыновей Ксениада, обучал их кроме всех прочих наук ездить верхом, стрелять из лука, владеть пращей, метать дротики; а потом, в палестре, он велел наставнику закалять их не так, как борцов, но лишь настолько, чтобы они отличались здоровьем и румянцем. Дети запоминали наизусть многие отрывки из творений поэтов, историков и самого Диогена; все начальные сведения он излагал им кратко для удобства запоминания. Он учил, чтобы дома они сами о себе заботились, чтобы ели простую пищу и пили воду, коротко стриглись, не надевали украшений, не носили ни хитонов, ни сандалий, а по улицам ходили молча и потупив взгляд. Обучал он их также и охоте. Они, в свою очередь, тоже заботились о Диогене и заступались за него перед родителями». Ксениад был настолько доволен своим новым рабом, что повсюду рассказывал: «В моем доме поселился добрый дух».

Положение раба нисколько не унизило Диогена. Напротив, всем своим поведением мудрец доказывал, что, и будучи рабом, философ-киник может оставаться господином своего положения и даже господином своего господина — раба собственных страстей. Поэтому, когда сыновья Ксениада предложили выкупить Диогена, он обозвал их дураками, сказав, что «не львам быть рабами тех, кто их кормит, но тем, кто кормит, — рабами львов, потому что дикие звери внушают людям страх, а страх — удел рабов».

Жизнь Диогена у Ксениада доказывает, что философ-раб был не просто нигилистом, отрицающим все и вся, но и созидателем. Если чудачества Диогена рассматривать как воспитательный прием, как средство укрощения низменных страстей и пробуждения добродетели, то они заслуживают самой высокой оценки. И дети Ксениада — лучшее тому доказательство. Недаром Диоген Лаэртский свидетельствует: «Этот человек обладал поразительной силой убеждения, и никто не мог противостоять его доводам. Говорят, что эгинец Онесикрит послал однажды в Афины Андросфена, одного из двух своих сыновей, и тот, послушав Диогена, там и остался. Отец послал за ним старшего сына... Филиска, но Филиск точно так же не в силах был вернуться. На третий раз приехал сам отец, но и он остался вместе с сыновьями заниматься философией. Таковы были чары Диогеновой речи».

Умер Диоген в глубокой старости, почти девяноста лет отроду. О смерти мудреца существуют самые противоречивые рассказы. Одни

говорят, что он съел сырого осьминога, заболел холерой и умер. Другие — что когда он хотел разделить осьминога между собаками, те искушали его за ноги, отчего он и умер. Третьи — что философ сам задержал себе дыхание, чем и приблизил свой незаметный уход из жизни. Наконец, говорили, что, умирая, он завещал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей или собак, что он приказал то ли бросить его в канаву, то ли в реку Илисс. В целом все эти подробности, которые слишком напоминают сбивчивые рассказы о трагической смерти Гераклита, свидетельствуют скорее не об истинных обстоятельствах смерти мудреца, а о том, что умер он, как и Гераклит, забытым и одиноким стариком.

Правда, одно предание говорит о том, что между учениками Диогена разгорелся спор, кому его хоронить, и дело дошло даже до драки. С помощью старейшин конфликт был разрешен, и мудреца похоронили в Коринфе у Истмийских ворот. На его могиле поставили колонну из паросского мрамора, которую венчала фигура собаки. Памятник этот простоял по крайней мере 500 лет, что засвидетельствовал во II в. н.э. Павсаний в своем «Описании Эллады». Кроме того, благодарные потомки почтили память Диогена его медными изображениями, которые украшали стихи:

Пусть состарится медь под властью времени — все же
Переживет века слава твоя, Диоген:
Ты нас учил, как жить, довольствуясь тем, что имеешь,
Ты указал нам путь, легче которого нет.

Традиция приписывает Диогену 21 сочинение, среди которых 14 диалогов — «О богатстве», «О любви», «О смерти», «Государство», «Наука нравственности», «Афинский народ» и др. и 7 трагедий — «Елена», «Геракл», «Ахилл», «Медея» и др. Главной темой диалогов и трагедий Диогена были этические проблемы, рассеянные по его сочинениям в виде множества афоризмов и притч, прибауток и побасенок, аллегорических толкований древнегреческих мифов, полных житейской мудрости и народного юмора. Все сочинения Диогена были пронизаны единой идеей кинической «перечеканки ценностей», а значит, призывали к торжеству духа над плотью, отвергали тихую мешанскую благоустроенность и мнимые материальные ценности во имя внутренней свободы и духовного богатства. Уже при жизни Диогена его «Государство» ставилось в один ряд с одноименным диалогом Платона.

Ни одно из сочинений Диогена полностью не сохранилось. Они рассыпались сотнями сверкающих искр в виде так называемых хрий и апофтегм, содержащих крылатые высказывания мудреца и рассказывающих о его аскетической жизни и скандальных выходках. Возможно, что многие произведения Диогена и не были записаны — его бочка явно не располагала к писательскому труду. Скорее всего трагедии и диалоги Диогена передавались изустно, подобно сказаниям Гомера и Гесиода. Да и вообще письменные нравоучения были чужды Диогену, ибо философией Диогена была сама его жизнь.

Основная философская идея киников состояла в том, что философия есть жизненная мудрость, не нуждающаяся в отвлеченном знании. Диоген философствовал своим образом жизни, свободным от условностей и ложных ценностей, лишенным практически всех потребностей. Диоген стремился превратить философию в чисто практическую науку, и в этом начинании он превзошел своего учителя Антисфена. Если Антисфен видел в философии «умение беседовать с самим собой», то Диогену философия давала «по крайней мере готовность ко всякому повороту судьбы». Диоген не устал благодарить судьбу за то, что она повернула его к философии, и, когда кто-то принялся сочувствовать судьбе синопского изгнанника, он гордо ответил: «Несчастный! Ведь благодаря изгнанию я стал философом».

Исповедуя «практическую философию», киники естественным образом считали чувственные ощущения основой познания мира. Как следствие, киники отвергали «путь истины» в философии, считая «путь мнения» единственно верной дорогой. В рациональном знании киники видели своего рода интеллектуальное барство, интеллектуальное наслаждение, столь же бесполезное и даже вредное для здорового человека, как и растлевающие душу телесные наслаждения. В силу той же «практической философии» киники абсолютизировали Гераклитову изменчивость мироздания, а значит, отрицали наличие в природе объективных неизменных законов. Таким образом, как и софисты, киники в философии были односторонними сенсуалистами и релятивистами.

Будучи закоренелыми эмпириками, киники отрицали сократовское учение о всеобщем. Киники ограничивали познание лишь описанием вещей и считали, что сущность вещи определить, а значит, и познать невозможно. В этом смысле киники были еще и агностиками. «Антисфеновцы», как называл киников Аристотель, признавали только существование единичных вещей, а общие понятия считали бессодержательными именами. «Нельзя определить, что такое серебро, — говорили киники, — но можно сказать, что оно подобно олову». Отсюда следовал неутешительный вывод о том, что логика бесполезна. Отсюда же вытекало воинствующее неприятие киниками платоновско-аристотелевского учения о вечных и неизменных идеях, независимо от их «местоположения» — в занебесных высях или внутри самой вещи.

Философская полемика Диогена и Платона носила явно непарламентский характер и, без сомнения, питалась не только принципиальными разногласиями в философии, но и личными антипатиями. Диоген Лаэртский так описывает эту полемику: «Когда Платон рассуждал об идеях и изобретал названия для «стольности» и «чашности» (т.е. для идеи стола и чаши. — *А.В.*), Диоген сказал: «А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а стольности и чашности не вижу». А тот: «И понятно: чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность, у тебя нет разума». Если в этом раунде победа явно осталась за Платоном, то в следующем столь же беспорным было преимущество Диогена.

Во времена полемики Диогена и Платона большим успехом пользовалось платоновское определение человека: «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев». Диоген ощипал петуха и принес его в платоновскую Академию со словами: «Вот платоновский человек!» Хотя Платон исправил свое определение дополнением «и с широкими ногами», стало очевидным, что таких дополнений потребуется бесконечно много.

Закончив спор на философском уровне, двое великих не гнушались перевести его и на чисто бытовой. Как-то Платон созвал к себе много народа по случаю приезда его друзей от Дионисия. Пришедший Диоген принялся топтать ковер хозяина со словами: «Попираю Платонову спесь», на что Платон ответил: «Попираешь собственной спесью, Диоген». В другой раз, когда голый Диоген стоял под дождем и окружающие жалели его, Платон сказал им, подразумевая ту же спесь и тщеславие Диогена: «Если хотите пожалеть его, отойдите в сторону».

Конечно, доведенный до крайности, аскетизм Диогена носил явно демонстративный характер. Платон прекрасно понимал это, и Диоген понимал, что Платон понимает. Два мудреца лучше других видели слабости друг друга, оттого-то и легла между ними тень вражды. Развеять эту тень можно было только переступив через себя, чего ни один из них не мог себе позволить. Поэтому полемика Платона и Диогена закончилась тем, что Диоген обозвал Платона краснобаем, а Платон Диогена — безумствующим Сократом. В какой-то мере оба они были правы. Надо сказать, что со времен Платона и Диогена человечество слабо продвинулось в искусстве разрешения контroversы. И через два тысячелетия в споре Лейбница и Ньютона последний настолько не выбирал выражений, что и через 300 лет, сегодня, их не воспроизводят на бумаге.

Но философия кинизма — это прежде всего этика, построенная на своеобразном «киническом» фундаменте. Поскольку киники считали общие понятия бессодержательными, то они не могли дать и общего определения блага — основного понятия этики. Вместо «общего блага» киники предложили «собственное благо», которое неизбежно должно было отличаться от общепринятого, а значит, и «кинический» способ достижения добродетели должен был быть чисто индивидуальным. Поэтому, если по Сократу, учившему о всеобщем, человек мог стать добродетельным, оставаясь в обществе и считаясь с общественными нормами блага, то по Диогену единственно верным средством достижения добродетели могло быть только бегство от общества, поиск «собственного блага», отказ от общепринятых норм социального бытия — политических, юридических, моральных, культурных и т.д. Если Сократ был пламенным патриотом Афин, сражавшимся за Афины и желавшим умереть только в Афинах, то Диоген с вызовом именовал себя гражданином мира — космополитом (греч. *κοσμοπολίτης* — космополит, от *κοσμος* — порядок, мир, Вселенная и *πολίτης* — гражданин, земляк), способным

жить в любом обществе, но не по законам этого общества, а по своим собственным.

Что же могли предложить киники в качестве «собственного блага»? Только внутреннюю свободу от всего внешнего, общепринятого — будь то национального, морального или культурного. Отсюда космополитизм киников, их цинизм и вульгарность. Справедливо считая, что внутренняя свобода есть то единственное, что невозможно отнять у человека, киники добровольно и совершенно напрасно отвергают все остальные «общие блага», обрекая себя на жизнь нищих и юродивых. Поэтому, как справедливо говорит о киниках С. Аверинцев, «именно то положение человека, которое всегда считалось не только крайне бедственным, но и крайне унижительным, избирается ими как наилучшее: Диоген с удовольствием применяет к себе формулу страшного проклятия — «без общины, без дома, без отечества».

А что могли киники взять за образец внутренней свободы? Только природу. Точнее, ближайший к человеку мир животных, еще точнее, «друга человека» — собаку. Собака определяла для киника и необходимый человеку минимум благ, и достаточный максимум ценностных критериев: «кто бросает кусок — тому виляю, кто не бросает — облаиваю, кто злой человек — кусаю». Так говорит Диоген о собаке и о себе. Собака демонстрировала кинику тот идеал искренних, незамутненных лестию, корыстью, фальшью, подлостью отношений, которые еще сохранились в мире первозданной природы и которые стали почти невозможными в испорченном цивилизацией мире человека. Поэтому собака для киника есть идеал и внутренней свободы, и природной мудрости, простоты и чистоты, и целомудренной нравственности. Поэтому у киников во все времена было так много последователей — от древнеиндийских йогов и дервишей до старорусских юродивых и современных хиппи.



Однако, провозгласив внутреннюю свободу единственным «собственным благом», киники встали на трудный и опасный путь, лишенный внешних ориентиров. Путь киника к истине похож на восхождение альпиниста к вершине: под ногами — крутой лед, перед глазами — пелена облаков. Только одно неверное движение отделяет альпиниста от падения. *Только один шаг отделяет киника от циника.* Киник идет к истине по острому гребню — слева и справа пропасть, и только один шаг разделяет внутреннюю свободу киника от вседозволенности, собачью искренность киника от скотства, возвышенную мораль киника от бесстыдства и т.д. И как внутреннее чутье оберегает альпиниста от неверного движения, так и природная интуиция, чистая природная гармония ограждает античного киника от циника. Благодаря внутреннему чувству меры — важнейшему природному архетипу и основному эстетическому закону античности — *античный кинизм не выродился в цинизм*, чего нельзя сказать о современных последователях античных киников, сегодняшних выразителях «великого отказа», погрязших в тунеядстве, бродяжничестве, свободном сексе, наркомании. Вместе с деструктивной энергией, разрушающей многие ценности античного общества, античный кинизм нес в себе положительный заряд веры в духовные силы человека, идеалов свободы, равенства, справедливости, открытости к гармонии природы, что и уберегало античный кинизм от цинизма.

Вот почему кинизм опасен и хорош не как способ жизнеустройства, а как недостижимый идеал внутренней свободы, как бичеватель порока, как средство воспитания стойкости духа и крепости тела, как способ обуздания низменных страстей и путь обретения душевного равновесия. «Практическая философия» кинизма, как и практический марксизм, хороша подальше от практики — не как руководство к действию, а как недостижимый идеал. Вот почему Диоген хорош как воспитатель, вот почему он достиг блестящих результатов в воспитании сыновей Ксениада. Вот почему философия кинизма нашла свое развитие в философии стоицизма — философии свободы от размягчающих тело и дух страстей, философии мужества и стойкости. Таким и остался в памяти поколений самый популярный киник Диоген — «освободитель человечества и враг страстей», «пророк правды и свободы слова».

ГРЕЧЕСКОЕ ЧУДО



*...Человек, не знающий творений древних,
прожил, не зная красоты.*

Гегель.

При всей симпатии к независимому строю мысли и свободолюбивому стилю жизни Диогена нельзя не заметить, что философия его не отличалась глубиной. И то была не вина Диогена, а беда всей древнегреческой философии. После Платона и Аристотеля античная философия стала неотвратно клониться к своему закату.

Подобно возникшей из пены морской Афродите, греческая философия явилась из небытия «темных веков» в VI в. до н.э. Блеснув яркими звездами по краям Ойкумены — в милетской школе Фалеса, кротонской школе Пифагора, элейской школе Парменида, мудрость Эллады обосновалась в Афинах и за каких-то сто лет взрывоподобного развития дала миру Платона и Аристотеля — недостижимые вершины всей мировой философии. И столь же резко начался ее упадок.

Однако накопленные греческой философией силы были столь огромны, что спад этот растянулся на тысячу лет. Еще сверкнул в этом предзакатном сумраке прямой продолжатель «линии Демокрита» Эпикур (341—270), еще пытались возродить былую славу мудрости Эллады и ее прямые наследники — римские философы: автор знаменитой поэмы «О природе вещей» атомист Тит Лукреций Кар (ок. 99 — ок. 55 до н.э.), крупнейший из стоиков Древнего Рима Люций Анней Сенека (ок. 5 до н.э. — 65 н.э.), еще блистал выдающийся оратор и философ Марк Тулий Цицерон (106—43). Еще родится в Египте основатель неоплатонизма последний великий философ античности Плотин (204/205 — 270), еще удивит современников государственным умом и недюжинной мудростью «последний римлянин» Аниций Манлий

Торкват Северин Боэций (ок. 480 — ок. 524). Но в целом теперь уже греко-римская философия, как и вся античная культура, шла к своему концу.

В 525 г. был казнен Боэций. Через два года императором Восточной Римской империи стал Юстиниан. А еще через два года, в 529 г., этот неумолимый реформатор и поборник христианского благочестия специальным эдиктом закрыл философские школы в Афинах — последнее прибежище античной мудрости, как его видим сегодня мы, и последний рассадник языческой ереси, как его видел Юстиниан. На этом история античной философии закончилась.

Зародившись в VI в. до н.э. и завершившись в VI в. н.э., античная мудрость, построенная древними греками и обжитая древними римлянами, просуществовала более тысячи лет. Возникнув в VI в. до н.э. из древнегреческой мифологии, в попытках перейти в объяснении мироздания от религиозного мифотворчества к логическим конструкциям, т.е. знаменовав переход от *мифа* к *логосу*, античная греко-римская философия закончилась в VI в. н.э. обратным переходом от философской логики к христианской теологии, т.е. от *логоса* к *мифу*. Круг замкнулся. Кристаллизованная из насыщенного раствора языческой мифологии, античная философия исчезла в жарком расплаве молодой христианской религии.

Но если смерть античной философии, равно как и гибель всей античной культуры, кажется понятной и закономерной, то рождение античной философии и античной культуры до сего дня выглядит как необъяснимое чудо. Откуда вдруг появились Фалес и Пифагор? Откуда такая дерзость и неординарность в постановке философских проблем мироздания?

Феномен внезапного рождения и стремительного развития греческой культуры является одной из загадок в истории человечества. Сегодня эта загадка обрела статус научной проблемы, именуемой «греческим чудом». Сотни исследователей на протяжении последних двух столетий соревнуются друг с другом в изобретении наиболее убедительных аргументов для объяснения этого феномена. Однако и сегодня «греческое чудо» откровеннее всего объясняют слова Б.Рассела, сказанные им полвека назад: «Во всей истории нет ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции».

Конечно, особое географическое положение Эллады, омытой морем и рассыпанной в море, предопределило ее особую роль в истории европейской культуры. Море не только дает пропитание, но и дарует общение людям. Но особое море — Средиземное, омывающее сразу три континента, и вовсе уникальна его восточная часть — Эгейское море. Во всем Эгейском море нет точки, удаленной от суши — будь то материк или соседний остров — более чем на 60 км, как и во всей Элладе нет места, отстоящего от моря более чем на 90 км. Россыпи островов, больших и малых, покрывают Эгейское море — они-то и стали опорами незримого моста, связавшего Азию с Европой, по ним

прошла дорога эллинов к сказочной восточной культуре и немногословной восточной мудрости. Вот почему именно восточные греки, ионийцы и эолийцы, заложили основы и философии — Фалес из Милета, и математики — Пифагор с острова Самос, и лирической поэзии — сладкозвучная Сапфо с острова Лесбос. Так на задворках необозримых азиатских империй появился неприметный гадкий утенок, выросший вскоре в прекрасного лебедя европейской цивилизации.

Но для произрастания новой культуры одной географии мало — нужны люди, творящие эту культуру. Какими же особыми чертами обладали жившие на особой земле греки? Одну из этих черт мы уже называли — это открытость греков к культурным достижениям других народов. Разумеется, одной способности перенимать для создания новой культуры мало — и греки не только перенимали, но и обогащали, достраивали и перестраивали готовое или, как говорил Платон, «доводили до более высокого совершенства». Вот здесь-то и проявлялся «агональный» — состязательный дух древних эллинов.

Древний грек, тем более афинянин, не мог сделать что-то так же, как это делал его сосед, — он должен был сделать лучше. Отсюда неистребимая страсть эллинов к соревновательности, ставшая едва ли не доминирующей чертой греческого менталитета. Отсюда бесчисленные соревнования, составлявшие неотъемлемую часть древнегреческого быта: от проводимых раз в четыре года общегреческих Олимпийских, Истмийских или Пифийских игр, когда прекращались войны и толпы греков, часто вчерашних противников, устремлялись по дорогам Эллады к месту состязаний, до ежегодных городских и даже ежедневных уличных состязаний в чем угодно — в беге, кулачном бою, борьбе, красоте, пении, танцах, острословии и т.д. Сколь важны были состязания для древних эллинов, видно хотя бы по тому, что даже счет истории они вели по олимпиадам — четырехлетним интервалам времени между соседними Олимпийскими играми, начиная от первых Олимпийских игр 776 г. до н.э. Увы, национальный дух соперничества стал для древних греков не только созидательным, но и разрушительным началом, приведшим Элладу к губительной Пелопоннесской войне, от которой она так и не смогла оправиться.

В качестве «третьего кита», поддерживающего национальную культуру, необходим еще и соответствующий государственный строй, который не подавлял бы отпущенное нации природой, а, напротив, способствовал бы развитию природных начал. Для иллюстрации сказанного достаточно сравнить Афины и Спарту — два соседних даже по древним меркам города-государства. И географическое положение, и национальный характер у обоих полисов практически одинаковы. Однако почему, в то время как Афины буквально залил звездопад мудрецов, в соседней Спарте не родилось ни одного философа?

Ответ до банального прост: тогда как в Афинах установился ярко выраженный демократический строй, Спарта являла собой классичес-

кий образец казарменного государства. Тогда как в Афинах едва ли не каждый житель так или иначе участвовал в общественной жизни полиса, общественная жизнь Спарты фактически полностью регламентировалась советом из тридцати старейшин. Тогда как в Афинах раскрепощенный ум, чувство свободы и собственного достоинства породили взрывоподобный всплеск интеллектуальных сил общества, духовная жизнь Спарты была задавлена военным диктатом и казарменным аскетизмом.

Знаменитый «спартанский образ жизни», известный нам в сильно приукрашенной интерпретации Плутарха, который был так же далек от времени Спарты, как мы от времени Ивана Грозного, действительно позволял взрастить непобедимое воинство, но полностью подавлял отдельную личность. В итоге такая жизнь, когда физически слабых новорожденных жестоко умерщвляли, когда шестилетних мальчиков сгоняли из отчего дома в «детские стада» — агелы, когда индивидуальность взрослых спартанцев была обезличена общими столованиями и даже общими женами, привела к полной деградации интеллектуальных сил Спарты.

Сами афиняне не питали иллюзий относительно преимуществ «спартанского образа жизни», о чем свидетельствует речь Перикла, произнесенная им в 431 г. до н.э. при похоронах афинян, погибших в очередной битве со Спартой. «У нас, — говорил Перикл, — государственный строй таков, что не подражает чужим порядкам; скорее мы сами служим примером для других, чем подражаем кому-нибудь. И называется наш строй демократией, ввиду того что сообразуется не с меньшинством, а с интересами большинства... В свое государство мы предоставляем доступ для всех и никогда гонениями на иностранцев не закрываем никому возможности изучать или осматривать то, чем может воспользоваться любой из врагов...

Мы любим красоту, соединенную с простотой, и любим образование, не страдая слабостью духа. В богатстве мы видим скорее подспорье для деятельности, чем предмет для хвастливых речей. Что же касается бедности, то у нас не признание в ней позорно для человека, а позорнее не прилагать труда, чтобы выйти из нее...

Короче говоря, я утверждаю, что наше государство — центр просвещения Эллады, а каждый человек в отдельности, мне кажется, может у нас проявить себя полноценной и самостоятельной личностью в самых разнообразных положениях с наибольшей ловкостью и изяществом. И это не одни только пышные слова, подобающие данному случаю, а постоянная действительность, это показывает нам уже самая сила нашего государства, которую мы изобрели такими чертами своего характера».

Итак, сколько бы ни было истинных причин взрывоподобного «греческого чуда», нам ничего не остается, как признать, что VI в. до н.э. был не только веком рождения античной философии, но и веком становления всей античной культуры. Высеченная Фалесом искра философской мудрости воистину со скоростью мысли перелетела не толь-

ко Эгейское, но и Ионическое море и рассыпалась сверкающим фейерверком по всей Греции, так что уже через сто лет, в V в. до н.э., Перикл мог по праву назвать Афины центром просвещенной Эллады. Таким образом, если XIV—XVI вв. принято называть эпохой Возрождения — временем второго рождения забытого античного наследия, то VI в. до н.э. можно назвать веком Рождения античной культуры и, бесспорно, веком Рождения античной философии.

Но самым удивительным является, пожалуй, то, что «греческое чудо» в VI в. до н.э. имело место не только в Греции. Именно в это время потаенное знание, дремавшее в тайниках жреческих храмов и отшельнических пустыней, достигает своей критической массы и выплескивается наружу. Словно по мановению волшебства в разных концах Ойкумены великие озарения коснулись лучших умов человечества. Пифагор в Древней Греции, Будда в Древней Индии, Конфуций в Древнем Китае — все они в VI в. до н.э. стали не просто философами или мыслителями, но и властителями дум, влекущими за собой Учителями, провозгласившими учения, которые просуществовали тысячелетия и во многом определили грядущие культуры.

За пестротой национального своеобразия, абсолютным различием в письменности, искусстве, религии и эпосе в философии, этике и эстетике Древней Греции, Древнего Китая и Древней Индии открывается поразительно много общего. Пифагорейское учение о единстве десяти оппозиций, таких, как свет-тьма, мужское-женское, нечетное-четное, почти дословно повторяет знаменитое древнекитайское учение о гармонии первоначал Инь-Ян. Все три древние философии объединяет идея слитности человека и природы, идея антропоморфизма, т.е. человекоподобия природы. Все три древние этики провозгласили по существу одинаковые идеалы «созерцательной жизни» — самоограничения потребностей человека и самоустранения от алчущей суетности общественной жизни. Часто древние мудрецы разных национальностей, которые и не подозревали о существовании друг друга, почти дословно вторили один другому. Так, Пифагору и Платону, придававшим исключительное значение воспитательной роли музыки, с другого конца Ойкумены вторил Конфуций (ок. 551—479 до н.э.): «Если хотите знать, как страна управляется и какова ее нравственность — прислушайтесь к ее музыке».

Не менее разительное сходство обнаруживается и в пяти математиках древности — египетской, вавилонской, китайской, индийской и греческой. Достаточно указать на знаменитую «теорему Пифагора», которая связывает между собой все пять самостоятельных математик древности. Родство древних математик столь велико, что крупнейший современный авторитет в истории науки Бартел ван дер Варден высказывает и аргументирует гипотезу о том, что в древности существовала неизвестная нам высокоразвитая традиция математических изысканий, которая послужила основой для всех пяти известных математик древности. Эту традицию ван дер Варден возводит к индоевропейским пле-

менам, создателям мегалитических памятников XXX—XX вв. до н.э. на территории Британии, подобных знаменитому Стоунхенджу. Так в современной гипотезе ван дер Вардена оживает древняя платоновская легенда об Атлантиде, унесшей в пучины моря имена первых наставников человечества, тех, кого русский поэт и историк Валерий Брюсов назвал красивым именем Учители Учителей.

Горы книг и статей написаны о значении Древней Греции для человечества. Трудно не только прибавить к этой массе что-то новое, но и откопать в ней что-то не примелькавшееся. И все-таки из всего необозримого хаоса слов о величии греческой культуры нам более других нравятся слова малоизвестного английского писателя Генри Мэна, сказавшего: *«За исключением слепых сил природы, все, что движется в этом мире, имеет свое начало в Греции»*.

Воистину, кажется, будто только вчера Фалес открыл двери в храм мудрости и привел в движение все мыслящее сегодня. И не только мыслящее, но и все движущееся сегодня движется неиссякаемой энергией древних. Сегодняшняя наука и техника, торящие дороги в космосе и освобождающие невиданные энергии, движутся идеей Пифагора о высшей роли числа в познании тайн природы. Кажется, будто только вчера Платон отковал эту основную пифагорейскую заповедь в афоризм: «Мы никогда не стали бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы», а сегодня его на все лады повторяют и Леонардо да Винчи, и Иммануил Кант, и Карл Маркс¹. Кажется, будто только вчера Пифагор уверял своих учеников во всеобщей гармонии мироздания, а сегодня ему вторит титан современного естествознания Альберт Эйнштейн: «Без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть никакой науки».

Уже одного этого достаточно, чтобы иметь право говорить о бессмертии и актуальности греческих идей. Но ведь Пифагор — это только начало мудрости Эллады! Хлесткие и глубокомысленные изречения Гераклита продолжают жить в максимах Франсуа де Ларошфуко, мыслях Блеза Паскаля, афоризмах Фридриха Ницше, а знаменитое Гераклитово «*πάντα ῥεῖ* — все течет» продолжает течь в нашем сознании вечной идеей вечного изменения в природе. Впрочем, вслед за Гераклитом Парменид открывает врата неподвижной метафизики и также оставляет нам бессмертную идею о неизменности субстанциальных основ мироздания — идею, благодаря которой только и возможно подлинное знание.

¹Предоставляем читателю возможность сравнить эти высказывания.

Леонардо да Винчи (1452—1519): «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства».

Иммануил Кант (1724—1804): «...в любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в нем математики».

Карл Маркс (1818—1883): «Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой».

А следом и ученик Парменида Зенон подбрасывает человечеству свои коварные апории, которые и сегодня лежат камнем преткновения на пути у современных математиков, логиков и философов. Вот Протагор, будто играючи и балагурия, оттачивает в своих софизмах логику построения языка и незаметно закладывает правила речи для современных компьютеров. А вот и атомист Демокрит, вроде бы только желает помирить Парменида и Гераклита, а сам оставляет грядущим естествоиспытателям грандиозную идею о неизменных микросущностях, лежащих в основе изменчивого мироздания.

Далее мы видим трех гигантов античной философии — Сократа, Платона и Аристотеля, — о которых только и можно сказать, что это три кита всей сегодняшней философии, ибо, если попытаться сказать нечто большее, значит, следует начинать по крайней мере три новые книги. Вот и неистовый Диоген Синопский предостерегает нас от того, что даже во имя мудрости нельзя убивать человеческое в человеке.

Таковы были десять великих мудрецов Эллады — величайшие из великих не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества... Мы склоняем голову перед ними и аромат древней мудрости кружит нам голову. Значит древняя мудрость не иссякла, значит жива и будет жить вечно современная мысль древних. И хотя, приглядевшись, мы замечаем, что многое в творениях древних мудрецов безнадежно утрачено или разбито неумолимым временем, творения древних остаются прекрасными, как прекрасна безрукая Афродита Милосская или обезглавленная Ника Самофракийская.



Т В О Й К Р У Г О З О Р

А. В. Волошинов

Мудрость Эллады

В КНИГЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ДЕСЯТИ ВЕЛИКИХ
ГРЕЧЕСКИХ МУДРЕЦАХ ОТ ПИФАГОРА ДО
ДИОГЕНА, ОБ ИХ ЖИЗНИ, СУДЬБЕ, ОСНОВНЫХ
ИДЕЯХ И О СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ ИХ ТЕОРИЙ.

«Твой кругозор» — это проверенные временем традиции научно-познавательной литературы для детей. В серию вошли лучшие книги по гуманитарным и естественно-научным предметам, написанные российскими и зарубежными авторами. Книги серии позволят вам расширить кругозор, повысить свой образовательный уровень и стать знатоками в различных областях знаний.

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК ФИЗИКА ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ БИОЛОГИЯ

ISBN 978-5-09-019349-8



9 785090 193498